

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 13

1983



Зигмунд ХИРЕН

**ДНЕВНИК ФРОНТОВОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА**

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА ОГОНЕК № 13

Зигмунд Х И Р Е Н

ДНЕВНИК
ФРОНТОВОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1983

Зигмунд ХИРЕН

Зигмунд Абрамович Хирен свыше пятидесяти лет занят профессиональной журналистикой. Видный советский очеркист. В качестве специального фронтового корреспондента «Красной звезды» участвовал и освещал в газете все войны и пограничные бои, обрушившиеся на Советское государство, начиная с тридцатых годов и завершая всеми четырьмя годами Великой Отечественной войны.

С 1946 года и поныне З. Хирен работает в журнале «Огонек».

Выполняя задания редакции, З. Хирен объездил большую часть Советского Союза и ряд зарубежных стран. Очерки З. Хирена, помимо «Красной звезды» и «Огонька», публиковались в «Правде», «Известиях», «Литературной газете», «Москве» и других центральных газетах и журналах.

З. Хирен — автор более десяти очерковых книг. Ряд работ переведен за рубежом.

Зигмунд Хирен — заслуженный работник культуры РСФСР, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, медалями, боевым знаком и медалью Монгольской Народной Республики.

ВСТУПЛЕНИЕ

Начиная с конца октября 1941 года я не раз слышал от Георгия Константиновича Жукова, принявшего сразу после возвращения из осажденного Ленинграда командование Западным фронтом, слово «халхингольцы», причем звучало оно всегда в его устах, как в последующие военные годы звучали слова «гвардия», «гвардейцы». Всякий раз, когда у нас заходил разговор о поездке в войсковую часть, чем-то особенно отличившуюся в боях, Жуков неизменно называл дивизию, недавно прибывшую в его распоряжение из Монголии.

Мне-то удивляться этому пристрастию не приходилось. Ведь именно там, у далекой монгольской реки Халхин-Гол, фамилия Жукова стала синонимом выдающегося современного полководца. Привязанность к людям, с которыми он, командующий 57-м особым корпусом, пришедшим на помощь дружественной нам Монголии, одержал крупные военные победы, чувствовалась буквально во всем. Вот один маленький пример. Когда Жуков по приказу Верховного был срочно отозван из Ленинграда в Москву, естественно, сразу возник вопрос, кто вместо него останется командовать фронтом. Жуков без колебаний назвал халхингольца Героя Советского Союза генерала Ивана Ивановича Федюнинского. Наутро я увидел Ивана Ивановича в Смольном, в кабинете, некогда принадлежавшем Сергею Мироновичу Кирову, за тем же письменным столом, где еще вчера склонялся над военными картами Георгий Константинович Жуков.

Федюнинский — худенький, стеснительный. Почти застенчивый, тихий голос. О чем бы ни говорил, что бы ни предлагал, добавит: «очень возможно», «предполагаю», «думается мне» — и никогда не скажет: «решил», «настаиваю», «приказываю» и т. д., и т. п. И, представьте, несмотря на эту вот мягкость, робость, именно он, Иван Иванович Федюнинский, начав на Халхин-Голе с помощника командира полка, стал там же командиром 24-го моторизованного полка, а после боев возглавил дивизию, которая, к слову, и отличилась в 1941-м на Можайском направлении, куда так настойчиво адресовал меня Жуков. Самого Федюнинского к тому времени там уже не было, он, как я уже сказал, защищал Ленинград.

Я же, назвав сейчас фамилию Федюнинского, почему-то вспомнил, как в 1939 году после завершения халхингольской операции Жуков распорядился построить среди барханов громаднейший амфитеатр, вмещавший не менее двух тысяч человек. И под стать ему — солидную эстраду со множеством ярко раскрашенных схем и карт. Со всех позиций съехались герои недавних боев. Жуков с длинной тонкой указкой в руках приступил к военному разбору. Назывались крупные танковые, авиационные, стрелковые соединения. И среди них тот самый полк, полученный в бою Федюнинским. Жуков не просто с похвалой отозвался о нем, а продемонстрировал схемы действий именно этого полка. К сожалению, Федюнинскому не довелось тогда услышать всех добрых слов, сказанных о нем Жуковым. Был Федюнинский ранен, а в 1943 году, командуя одной из армий, сражавшейся за снятие с Ленинграда блокады, Федюнинский был ранен вновь, причем осколок мины, будто по чьему-то злому умыслу, угодил в бедро рядом со старым ранением, полученным на Халхе.

Впрочем, об этом «совпадении» узнал я не от Федюнинского, а от хирурга, оба раза извлекавшего осколки мин. В Монголии этого доктора все называли по молодости его лет просто Сашей, а был это Александр Александрович Вишневецкий, впоследствии ученый с мировым именем, главный хирург Министерства обороны СССР. Вот и он до последних дней жизни с гордостью называл себя халхингольцем.

Словом, повторяю, ничуть я не удивился, когда Георгий Константинович советовал мне написать очерк о бывалых солдатах на материалах как раз этой вот дивизии, только что прибывшей из Монголии и выгрузившейся в районе Кубинки под Москвой.

— Уверю тебя, — сказал он, — что нигде ты не найдешь таких обстрелянных людей, как там. Да что я тебе говорю. Сам знаешь. Они воевали ведь на Халхин-Голе. А теперь вот прибыли на защиту Москвы, дерутся на Можайском направлении. Вот уж действительно настоящие старые солдаты. Ну, не в смысле того, что с бородами да с усами. А опытные, обстрелянные, хитрые, халхингольцы...

Была лютая зима сорок первого под Москвой. А я, слушая в небольшом домике в Перхушкове Жукова, вновь видел перед собой события, происходившие с мая по сентябрь 1939 года в районе реки Халхин-Гол. Вновь пред глазами оживали бескрайние монгольские степи, солончаки, желтые песчаные барханы. Там, в Монголии, ближайшая наша железнодорожная станция отстояла от района действий чуть ли не на 700 километров (кругооборот 1400—1500 километров). Это усложняло подвоз огнеприпасов, горючего, вооружения, продовольствия и т. д. Сейчас, зимой сорок первого, бои разгорелись в подмосковных лесах.

Река Халхин-Гол и прилегающие к ней высоты были захвачены японцами. Это были самые выгодные тактические рубежи. Ими завладел враг. На протяжении четырех месяцев он оказывал бешеное

сопротивление. Каждую высоту приходилось брать приступом. И именно после боев в этом районе и в таких вот условиях мир узнал о выдающемся полководце. Я не боюсь этого высокого эпитета, потому что вся последующая военная жизнь Г. К. Жукова подтвердила его. Именно здесь впервые услышал я слово «халхинголец», которое так охотно произносил командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков зимой 1941 года под Москвой.

В подтверждение своих слов приведу любопытный документ, обнаруженный в 1945 году в поверженном Берлине, где маршал Жуков принимал от немцев полную, безоговорочную капитуляцию. Из этого документа следовало, что германский генеральный штаб еще в 1939 году, сразу же после разгрома японцев на Халхин-Голе, назвал Жукова «сильным и опасным противником».

Я же впервые увидел Жукова в блиндаже, вырытом возле горы Хамар-Даба. Он сидел в узком, как пенал, отсеке за длинным сколоченным из плохо обструганных досок столом и с аппетитом ел арбуз, только что доставленный на том самом тяжелом бомбардировщике «ТБ-3», с которым прибыл я из Читы. Несколько часов валялись мы на читинском аэродроме среди пыльной травы в ожидании разрешения на вылет. Нервничали, сердились, строили всевозможные предположения по поводу причин задержки. Предполагалось, что в воздухе происходят бои с японцами, что, возможно, где-то и на суше прорвались они и т. д. и т. п. А причина оказалась очень даже глубоко штатской. На тот самый аэродром, где мы находились, сел самолет, из которого тут же стали перегружать в наш «Тэбэ-три», кроме всевозможного военного снаряжения, громадные астраханские арбузы. И как только арбузы перенесли к нам в самолет, было получено разрешение на вылет, и мы поднялись в воздух.

Я мог бы не сомневаться, что Жуков, сидевший в своем блиндаже без гимнастерки в сорочке «гейша», окаймленной ленточкой с голубенькими цветочками, лакомился именно одним из тех громадных арбузов, которые доставили нам в воздухе немало хлопот, перекатываясь с одного края самолета в другой.

Рядом с Жуковым, с которым я тогда еще не был знаком, сидел один мой очень хороший приятель, соратник по боям лета 1938 года на озере Хасан, дивизионный комиссар М. С. Никишев. Он тоже лакомился арбузом.

— Угощайся, Хирен, — сказал Никишев и тут же поинтересовался, когда я прибыл и на чем.

— На арбузах, — ответил я.

— Как? — заинтересовался уже не Никишев, а Жуков. — Как это на арбузах?

— Очень просто. На «Тэбэ-три», который шел из Читы, везли мы арбузы, вот эти самые.

Однако, узнав, что я корреспондент «Красной звезды», Жуков сразу, я бы сказал, поостыл. И вот, как я потом понял, по какой причине. Уже несколько дней корреспонденты одолевали его всевозможными просьбами, связанными с освещением в столичной прессе боевых действий. Но Жуков всячески избегал разговоров на подобные темы. Мой же «заход» с арбузами он воспринял как хитрость и понимающе подмигнул мне. Короче говоря, несмотря на внешне благоприятные обстоятельства (знакомый Никишев, арбузы), в тот раз разговор у меня с Жуковым не состоялся. Но вот что удивительно: случай этот Жуков запомнил и спустя несколько месяцев, когда уже бои закончились полной победой советско-монгольских войск и я оказался на окраине Улан-Батора дома у Жукова, он первый вспомнил арбузы.

Попал же я на квартиру, а вернее, в маленький деревянный домик, похожий на нынешние сборные финские, вот по какой причине. После окончания боев было мне поручено взять интервью у Жукова о том, что произошло в районе боев у реки Халхин-Гол. Первый разговор на эту тему состоялся в том самом «пенале», где мы познакомились. Жуков наотрез отказался от каких бы то ни было интервью или статей.

— Не писатель я, — смеялся и, накинув на плечи кожанку и вооружившись чайником, вышел из «пенала» и стал подниматься по осыпающимся склонам горы Хамар-Дабa.

— Уезжаем, надо дымоходную трубу водой залить, а то как бы вся Хамар-Дабa не загорелась. Начались осенние степные пожары.

Вскоре я убедился, что жуковская предосторожность была небезосновательна. Недавние поля сражений временами, несмотря на окончание боевых действий, превращались в огненное море. Пламя и густой дым двигались со стремительной силой на людей, машины, караваны верблюдов, табуны коней. Прежде приходилось скрываться в ложбинах и щелях от огня вражеской авиации и артиллерии, а теперь, помимо огненной стены, неслись нам навстречу стаи обезумевших волков. В страхе бились они своими боками о кузова автомашин. Монголы, страстные охотники на волков, пробовали нас успокоить, перефразировав известную русскую поговорку «не так страшен волк»... Но, признаться, был он страшен. Подумать только, военный противник разбит, 6-я японская армия разгромлена, а тут новый враг: степные пожары и волки, спасающиеся от них. Но преувеличивать страх от этих стихийных бедствий все же не стоит. Мне предстояло беседовать с Жуковым о победе советско-монгольских войск, и я, тогда молодой военный журналист, был готов преодолеть любые препятствия во имя этой встречи с Жуковым, к слову сказать, тогда еще тоже сравнительно молодым военачальником. Потом, когда прощались, Жуков признался, что впервые в жизни дает корреспонденту интервью. Однако не буду отвлекаться, попытаюсь вернуться к прерванному рассказу...

...Следуя за Жуковым, я продолжал талдычить свое: подобное интервью крайне необходимо, мир должен узнать и т. д. и т. п.

— Ну, допустим, — добродушно улыбнулся Георгий Константинович, — но с какой это стати буду я с тобой делить гонорар?!

— Как делить? — удивился я.

— Очень просто, ты ведь ко мне вроде в соавторы напросился...

Тут я понял, что Жуков шутит, что наша взяла, что редакционное задание будет выполнено.

Далее, однако, Жуков сказал, что в настоящий момент заниматься подобными делами никак не может, что предстоит доклады, составление отчетов для Генерального штаба. Словом, «творчеством» можно будет заняться дома, на досуге.

А дом Жукова, как было мне известно, находился в Минске. Ведь прибыл-то он в Монголию из столицы Белоруссии, где был заместителем командующего военным округом. Однако мои предположения о доме оказались ошибочными. Пока шла война, семья Жукова — жена и двое маленьких дочурок — перебралась из Минска в Улан-Батор и поселилась в том самом домике, о котором я уже сказал.

Открыв дверь домика, я сразу же оказался в столовой, служившей одновременно Жукову и кабинетом. Ни тамбура, ни передней домик не имел. Посреди комнаты стоял квадратный стол, покрытый довольно потертой клеенкой. В углу — железная кровать; возле самой двери — небольшой письменный стол. У стены на табуретке возвышалось странное в то время для меня сооружение. Но именно на него первым долгом обратил мое внимание Жуков. Это была радиолы, присланная ему из Москвы в виде подарка, что ли. Судя по всему, Жуков очень гордился этим подарком. После того, как мы обменялись приветствиями и Жуков неожиданно для меня вспомнил про тяжелый бомбардировщик, на котором доставлялись в Монголию арбузы, он подвел меня к этому сооружению и сказал:

— Вот что, ты пока займись радиолой. Заграничная штука! Такой ни у кого нет. Сразу ставится пять пластинок, проигрываются, сами переворачиваются и опять играют. А я буду заниматься своими бумагами. Видишь, сколько мне их принесли...

Мои попытки освоить радиолу оказались безуспешными. Жуков, хоть и был занят деловыми бумагами, несколько раз недовольно оглядывался. Наконец не без раздражения встал, подошел ко мне и начал показывать, как надо обращаться с радиолой. Но тут выяснилось, что и он недостаточно освоил «технику». И, махнув рукой, он сказал жене, чтобы она занялась гостем, чаем, что ли, напоила.

— Вот кончу, тогда займемся литературным творчеством.

Жена Жукова — Александра Диевна — удалилась на другую половину комнаты, разделенную ситцевой занавеской, и вскоре на

столе появился чай. Под столом в это время, не обращая внимания на меня, играли дети Жукова.

Но вот Жуков, потирая руки, присел к столу и, помешав в стакане ложечкой чай, пододвинул мне тарелку с печеньем.

Началась же наша беседа с того, что Жуков выразил недовольство тем, что я, работая над черновым вариантом «литературного», как он выразился, произведения, не воспользовался переданными им мне еще на Хамар-Дабэ японскими документами.

— Пойми,— сказал он.— Если хочешь получить представление о том, какую силу возымели действия наших войск на армию противника, обязательно внимательнейшим образом прочитай дневники, письма солдат и офицеров врага. В этих бумагах люди как на духу, сами того не подозревая, дают точную оценку действиям войск.

Я почему-то заупрямился и стал доказывать Георгию Константиновичу, что не воспользовался дневником японского капрала лишь по той причине, что говорилось там о вещах, не имеющих, на мой взгляд, никакого отношения к военным действиям. Японец писал о каком-то талисмане, подаренном ему сестрой в Токио, о знакомой девчонке...

— Девчонке,— передразнил меня Жуков.

Жуков встал из-за стола и принес стопку бумаг. Это оказались переводы новых трофейных документов. Отрывки из них он прочитал мне вслух.

И тут почему-то я вспомнил, как при первом нашем знакомстве, вот тогда, когда я застал Жукова с арбузом в руках, какой-то полковник докладывал Жукову, что один из захваченных в плен японских офицеров попросил нож, объяснив, что сейчас произведет «харакири».

— Ну и что? — поинтересовался Жуков. — Дали нож?

— Нет, конечно,— отпартовал полковник.

— Почему же?

— А языка нам надо было.

— Эка невидаль? У нас теперь этих языков хоть пруд пруди.

Позднее, когда бои уже кончились, я был свидетелем не менее любопытного разговора Жукова. Завершились переговоры нашего командования с представителями побежденной японской армии. Речь шла об уборке японских трупов с территории Монголии. Японцы настаивали, чтобы их офицерам, допущенным на поле недавних боев руководить сбором трупов, разрешили быть при оружии. На что Жуков ответил:

— Они уже тут раз побывали при оружии. Хватит!

За чаем Жуков впервые посвятил меня в те самые малоприметные детали, которые, по его мнению, имели немаловажное значение.

Уже было принято решение наступать. Шли крупные перевозки танков, артиллерии, боеприпасов. В Монголию прибывали новые части из глубины России, а чем был занят тогда командующий Жуков?

— Вот как раз в то время я и был занят литературным творчеством,— усмехнулся Жуков.— И без помощи вашего брата сочинил «Памятку бойцу во время обороны».

— Обороны? — удивился я.

— Ну, конечно же, обороны,— подтвердил Жуков.— Писалась эта памятка все в том же «пенале». И была опечатана в типографии на русском языке большим тиражом. А тираж ее целиком был переброшен на самолете... к японцам. Наш летчик не был осведомлен о том, что представляют собой тюки, которые надлежит сбросить на территорию врага. Ему только было сказано, что при исполнении данного задания ошибка недопустима. А ошибка могла заключаться лишь в одном — если он тюки эти сбросит не над японской территорией, а над нашей. Летчик был опытным, смелым, исполнительным, и ошибки не произошло. Тюки были сброшены неподалеку от штаба японского командующего Камацубары. Теперь надо было убедиться в том, что «ошибка» свое дело сделала.

И Жуков хитро подмигнул мне:

— Понял?

— Нет, не понял,— сознался простодушно я.

— Ах так? Не понял? И еще берешься мне помогать. Ну, знаешь...

Далее Георгий Константинович рассказал мне суть замысла. Японцы должны были быть твердо убеждены в том, что наши войска готовятся к длительной обороне, причем зимней. Так, например, ежедневно с командного пункта Жукова в Москву шли телеграфные, конечно же, зашифрованные запросы о присылке проволоки, колья, всевозможных оборонительных сооружений, валенок, полуботков, ватников. А все это передавалось по радио и телеграфу в августе месяце. И все, повторяю, не открытым текстом, а закодированным. Но уже давно Жуковым были приняты все меры к тому, чтобы этот ключ, этот код своевременно попал в самые авторитетные руки японского командования. И чтобы они имели возможность свободно расшифровать все эти бесконечные переговоры с Москвой. А тюки с «Памяткой бойцу во время обороны» должны были служить заключительным аккордом жуковского «литературного» творчества.

И тут Георгий Константинович почему-то вновь обратил мое внимание на чудесную радиолу, которая проигрывает подряд пять пластинок, самостоятельно переворачивая каждую. К слову сказать, в тот вечер не удалось ни Жукову, ни мне прослушать даже одну из этих пластинок, так как радиола упорно нам не подчинялась. Проведя рукой по радиоле, Жуков сказал:

— Ведь знаешь, и эта штука нам тоже помогла.

Я пришел в полное недоумение. Но, видимо, Жуков уже привык за этот вечер к моему военному невежеству и объяснил:

— Ведь я тебе уже сказал, что мы готовили генеральное наступление на японцев. Непрерывно двигались в мое распоряжение

танки, артиллерия, боевая техника. Говорил тебе? Значит, японцы могли сразу заметить противоречие между нашими шифровками и действительностью. Так ведь? Потом, имей в виду, японская армия сильная. У них разведка налажена не хуже, а я бы сказал, лучше, чем у нас. И подобного противника обмануть не так-то просто. Надо было на него нажимать со всех сторон. Значит, для того, чтобы он поверил, что шифровки соответствуют реальной действительности, я распорядился о строительстве крупных проволочных заграждений. Но из жалости к своим саперам заставил вместо них потрудиться такой вот штуковине. Словом, мощная звуковещательная станция круглые сутки имитировала забивку кольев в землю. Грохот стоял невообразимый. Японцы не могли не услышать его. А потом непрерывно двигалась техника в район боев. Правда, пока мы держали ее в укрытиях. Но все равно шум гусениц танков не скроешь...

— И как же вы тогда поступили? — спросил я.

— Зачем спрашиваешь? Ведь ты знаешь и видел. За десять дней до наступления вдоль фронта начали беспрерывно курсировать танки. По идее, они должны были изображать вывод наших войск в тыл. Надо было, чтобы они производили как можно больше шума. Я приказал снять с этих танков глушители. Вот тут-то японцы забеспокоились. Несколько раз даже открывали артиллерийский огонь. Но шум не прекращался круглые сутки. И в конце концов японцы решили, что это обычный русский беспорядок. И махнули рукой на наш шум. Этого-то я и добивался. Мне было важно, что когда наступит момент доставить к району боевых действий новые танковые соединения, японцы, привыкшие к непрерывному шуму танковых гусениц, не заметят этого. Короче говоря, прозевают сосредоточение наших войск, что создаст нам условия для внезапных действий. Теперь-то ты, надеюсь, понял?

...Упомянул я тут Ивана Ивановича Федюнинского, с которым встретился в октябре сорок первого в Смольном, а впервые, как и Жукова, увидел во время боев на Халхин-Голе. Как только наш тяжелый бомбардировщик приземлился в Тамцак-Булаке, его буквально заполонили цирики. Они старались прикоснуться к каждой детали самолета, с любопытством расспрашивали об их назначении. Наши летчики охотно отвечали на все вопросы.

Потом, когда я вышел из самолета, моим глазам представилось зрелище, память о котором сохранилась по нынешний день. Неподалеку от аэродрома в открытой степи тысяча всадников, окруженных женщинами, детьми, стариками. Зеленые, синие, голубые халаты развевались на ветру. Стоявший рядом со мной монгольский офицер объяснил, что это жены, матери, дети, сестры, отцы провожают своих на войну.

И именно Федюнинский порекомендовал познакомиться с теми

своими воинами, которые лучше знают местных жителей. Назвал рядового Михаила Фетисова.

— Он у нас, знаете, водовоз. Здесь, в Монголии, снабжение питьевой водой — проблема, и немалая. Ну, так вот Фетисов снабжает водой не только нас, но часто приходит на выручку монголам.

Услышав, что меня к нему прислал сам полковник Федюнинский, Фетисов пришел, я бы сказал, в замешательство. «Я ничего такого не сделал», — повторял он, то краснея, то бледнея. С трудом удалось преодолеть застенчивость, робость, врожденную, что ли, неразговорчивость паренька. Да, он действительно не прочь был пособить и местных жителям. И тут Фетисов не удержался и заговорил о собственном горе. Весь полк ушел к Халхин-Голу защищать монгольскую землю, а его, Мишу Фетисова, как водовоза, так сказать, глубокого тыловика, дома оставили. Сперва надеялся, думал — вспомнят, пришлют за ним, дадут в руки пулемет, несколько дисков, и марш на войну! Но куда там! И вот после долгих мучений все-таки добился своего. Правда, предполагал, что воевать пошлют, а приказали на водовозке следовать.

На фронте все изнывали от жажды. Река рядом, а баклажки высохли, кухни поотстали, пулеметчики бранят все на свете: в пулеметах ни капли воды. И тут появился водовоз Миша Фетисов. Помнили все, что паренька дома оставили, мол, война без него обойдется, пусть «загорает»... В мгновение наполнил водой баклажки, котелки, ведра, кухни. И айда опять к реке. Ему кричат: «Убирайся! Что, оглох? Японцы в вилку берут, ты всех демаскируешь». А Фетисов и впрямь вроде оглох, знай себе черпает и черпает ведрами воду из реки.

Вскоре Фетисов убедился, что профессия водовоза не менее боевая, чем другие военные профессии. Между прочим, рассказ Фетисова послужил и для меня хорошим уроком. Прежде я писал в газету о танкистах, пехотинцах, летчиках, а теперь понял: есть на войне специальности не менее важные. Все добивался от паренька, чтоб рассказал, в каких переплетах перебивал, а он свое: «Ничего такого не бывало...»

А бывало... И такое, что через три года Фетисова вспомнили, да и сегодня, убежден, спустя сорок лет, помнят, не забыли. И никогда не забудут.

Однако тут я вынужден прервать свой рассказ о халхингольском водовозе и вернуться к одному из малоизвестных эпизодов Великой Отечественной войны. Прибыла к нам на Западный фронт военная делегация Монгольской Народной Республики, так сказать, коренные халхингольцы. Конечно же, их принял командующий, конечно же, не обошлось без халхингольских воспоминаний. Затем гости с подарками для фронтовиков отправились на передний край. На одной подсобной

встрече, в артполку, довелось и мне в тот момент присутствовать. Не один я там оказался, а с писателем Всеволодом Вячеславовичем Ивановым. Гости привезли воинам теплые варежки, меховые жилеты, толстые носки, знакомые по Халхин-Голе папиросы «Борцы» с изображением на коробке монгольской спортивной борьбы. Позднее стало известно, что подобных подарков пришло от Монгольской Народной Республики в том году 140 вагонов. Кроме того, монгольские побратимы перевели для Победы два с половиной миллиона тугриков, сто миллионов американских долларов, триста килограммов золота. На эти средства построили 53 танка, и среди них танк «Сухэ-Батор». Многие из тех боевых машин дошли до Берлина. Среди «подарков» была и авиационная эскадрилья «Монгольский арат», завершившая свой победный путь под Кенигсбергом. Для советских кавалерийских частей МНР прислала 35 тысяч лошадей. Но тогда под Москвой ни я, ни Всеволод Иванов не знали об этих дарах. И все равно процедура раздачи монгольскими гостями подарков нашим солдатам на переднем крае взволновала до глубины души.

Всеволод Иванов, знавший, что я был на Халхин-Голе, шепнул: «Поспрашайте, может, среди гостей обнаружится кто-либо из ваших старых знакомых по 1939 году». Поспрошал, но безуспешно. Зато от одного из монгольских офицеров случайно услышал название городка Матат-Самон, по которому когда-то развезжал Фетисов на своей водовозке. И я рискнул спросить гостя, не приходилось ли встречаться ему у себя в МНР с нашими воинами.

— Встречаться? — удивился монгольский офицер. — Меня спас ваш солдат, и я всю жизнь буду его помнить. Миша Фетисов!

Тогда, на Халхин-Голе, написал я большой очерк о водовозе Михаиле Фетисове. Был там и такой эпизод. Попал как-то Фетисов под прицельный огонь, да такой сильный, что не проскочить. Что делать? Решил Фетисов перехитрить японцев, прикинулся, что и водовозка вышла из строя и сам-то он, Фетисов, убит. Незаметно выбрался из кабины и бухнулся на дно оврага. Лежит, прислушивается. Вроде стрельба приутихла. Пополз по-пластунски, залег у крыла водовозки, и так, лежа, одной рукой нажал на стартер, другой — на педаль, скорость включил и скок в кабину, согнулся в три погибели, со стороны могло показаться, что машина без водителя мчится. Но к этому-то Миша и стремился. Под самым носом у японских артиллеристов, безусловно, считавших и его и машину уничтоженными, проскочил. Но и двух километров не сделал — слышит стон. За барханом — раненый. Фетисов и до того не раз спасал раненых. На сей раз им оказался циррик.

— Русский солдат спас мне жизнь на поле боя! — повторил несколько раз наш гость.

Писатель Всеволод Иванов, уже и тогда пожилой человек, слушая гостя, плакал.

МОСКВА, ОКТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1941

20 октября

Постановление Государственного Комитета Обороны об осадном положении Москвы еще не опубликовано, лежит на редакторском столе рядом с распечатанным конвертом и мелкими кусочками сломанной красной сургучной печати. Вдвоем с фельдъегерем, доставившим из Кремля пока еще совершенно секретный пакет, спускаемся на редакционном лифте.

Мой путь лежит в Замоскворечье, к человеку, чье имя названо в первом абзаце постановления, привезенного в редакцию фельдъегерем. Едва прочитал постановление, как редактор срочно отправил меня к генералу Артемьеву. Вот этот абзац: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100—120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона на ее подступах».

Ехал я к Павлу Артемьевичу Артемьеву во время сильного авиационного налета на Москву. В штабе дежурный офицер сразу же объявил, что Артемьев принять не сможет. Я и сам видел, что не до меня сейчас... В узких коридорах штаба свет то загорался, то гаснул. Где находится кабинет Артемьева, я, естественно, не знал. И тут выручил случай... Навстречу мне шел старый друг по работе на Дальнем Востоке в Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, которой в то время командовал маршал Блюхер. Это был Константин Федорович Телегин. Там, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, знал я его полковым комиссаром, начальником политотдела пограничных войск. Сейчас в петлицах Телегина я увидел два ромба — значит, стал он дивизионным комиссаром. Телегин объяснил мне, что недавно назначен членом Военного Совета Московского военного округа. Однако времени для воспоминаний и взаимного обмена информацией не было. Объяснив Телегину, что привело меня в штаб, я попросил, чтобы он помог мне встретиться с генералом Артемьевым. Телегин чуть поморщился, заметив, что выбрал я время не «ай-ай», как он выразился, что на Москву сейчас волна за волной идут фашистские авиационные армады, и, как стало известно, не только с бомбами, но и с тонными торпедами, которые они намереваются бросить на Кремль, и что Артемьеву, как я должен понять, в данную минуту не до меня и не до нашего редактора. Однако я настаивал на своем. И Телегин сказал:

— Ну, давай пойдем к Артемьеву. По старой памяти представляю тебя, но не ручаюсь, чтобы он пожелал беседовать.

И вот открывается высокая дверь. Несколько высоких окон, плотно зашторенных, яркие лампы. Генерал поднялся из-за громадного письменного стола, установленного множеством обычных и полевых телефонов, ни на секунду не умолкающих. Высокого роста, стройный, подтянутый, с необыкновенно синими, ясными и спокойными, запомнившимися на всю жизнь глазами. К сожалению, он не может выслушать всей моей, так сказать, вступительной тирады: телефонные аппараты не позволяют, приходится непрерывно поднимать трубки, слушать, вновь опускать, опять слушать, что-то отвечать... В конце концов ему, видимо, удастся уловить и суть моих вопросов. Что предпринимается для обороны подступов к Москве? Как он, начальник гарнизона, намерен выполнить только что принятое Государственным Комитетом Обороны постановление?

Артемьев приглашает меня присесть и, сам усевшись в кресло, спокойно говорит:

— Москву теперь мирным городом не назовешь, фронт мы теперь. Каждая улица уже сейчас должна приобрести да и приобретает боевой облик, а кто остался в Москве, должен быть готовым вступить в бой.

И тут я узнаю, что Артемьев присутствовал на том самом заседании ГКО, где это постановление принималось, а еще точнее, где продиктовал его Верховный Главнокомандующий.

Словом, я не мог пожаловаться на своего собеседника. Речь его отличалась четкостью, образностью, была точной, исчерпывающей. Не могли не изумить спокойствие, сильный характер. И помнится мне, что тогда, слушая Артемьева, я искренне сожалел, что всего этого не смогу изложить в интервью.

В тот момент я еще не мог предполагать, что именно мой собеседник 7 ноября 1941 года будет командовать военным парадом на Красной площади, а в 1945 году — руководить организацией Парада Победы.

Тогда, во время первой нашей встречи, я позволил себе задать генералу некоторые вопросы, формально не входившие в тему нашей беседы. Так, например, спросил у него, бывают ли у начальника гарнизона какие-либо встречи, не имеющие прямого отношения к его нынешней деятельности. Артемьев улыбнулся, и мне даже показалось, что вопрос ему пришелся по душе. Он сказал, что был у него писатель Алексей Толстой. И представьте, явился не по литературной линии, а просить за одного своего молодого избирателя.

Мне запомнилось посещение Алексеем Толстым нашей редакции. Было это в первые месяцы войны. Грузный, в расстегнутом светлом пиджаке, сидел он в кабинете ответственного редактора дивизионного комиссара Д. И. Ортенберга, облокотившись о письменный стол. Непрерывно вытирал большим клетчатым носовым платком макушку, с любопытством разглядывал стены, потолок, нас, обступивших его. Глаза у писателя были насмешливые. У одного кобуру нагана потрогал, у другого орден на гимнастерке поглядел. Сперва больше молчал, слушал, а там и сам разговорился...

— Урчат, понимаете, житься от них нет, урчат — полбеды, а начнут из пушек своих авиационных палить, из пулеметов строчить, пикировать чуть ли не на самую крышу дома... Ну наши-то сложа руки не сидят, бьют по «юнкерсам» из зениток, накалывают и прожекторами и трассирующими снарядами, воздушные бои ведут. Зрелище богатейшее, нечеловеческой красоты, в особенности когда один за другим факелом валяются на землю стервятники. Эти уж москвичей не тронут, слава богу. Словом, как понимаю, дача-то моя в самом горниле московской противовоздушной обороны. Название одно: дача, в действительности — на войне как на войне, а я, старый дурак, подумал: уединился! Давно пора мне на фронт. За тем и прибыл на вашу Малую Дмитровку.

О чем же был у Алексея Толстого разговор с генералом Артемьевым? Значит, так, задержал патруль парня одного, а тот уже с «губы» (то есть с гауптвахты) успел записку домой переслать, мол, трибуналом пахнет. А писатель знает того парня, голову, говорит, на отсечение даю, ничего такого натворить не мог, просто, видно, попал под чью-то горячую руку. Артемьев выслушал и обещал во всем разобраться. И тут Алексей Толстой вспомнил во всех подробностях свои прегрешения, как после революции бежал, а затем, поняв, что никакие «парижи» Родины не заменят, пришел с повинной к Советской власти, и Советская власть простила. И вот он, бывший граф, теперь депутат Верховного Совета СССР.

— Допустим, этот мой дуралей в чем-то и провинился, но ведь молодой, клянусь, одумается, дайте кровью вину искупить.

Артемьев, закончив свой рассказ об Алексее Толстом, заметил, что каждое утро является к нему комендант города и докладывает о всевозможных ЧП, происшедших за ночь в столице. Всякое бывает, полномочия в это грозное время у начальника гарнизона немалые, может и карать, может и миловать. Иной раз такое услышишь, чувствуешь, не осилишь сам, и при первом же удобном моменте Верховному доложишь. Вот был, например, случай, летчик один до такой степени провинился, наказание — расстрел. Доложил Артемьев Верховному, а тот спрашивает, на каком самолете провинившийся летает, сколько вражеских машин сбил. «Четыре «юнкерса», — отвечает Артемьев. «Где?» — спрашивает Верховный. «Под самой Москвой, не пропустил гадов в Москву». «Значит, — продолжает Верховный, — сколько жизней спас?» «Может, тысячу, а может, больше», — отвечает Артемьев. «Не судить! — заключил Верховный. — Послать в бой рядовым».

Спустя время, вновь встретившись с Артемьевым, поинтересовался судьбой подопечного Алексея Толстого. Уважили просьбу писателя.

...Вскоре я уже был в редакции и сдал большое интервью с генералом Артемьевым.

21 октября

Штаб Западного фронта. К Георгию Константиновичу Жукову я приехал по заданию редактора в Перхушково, небольшой дачный поселок неподалеку от Москвы. Войдя в деревянный домик с внутренней узкой лестницей, я увидел Жукова в старенькой полосатой пижаме, с махровым полотенцем на плече, в руках мыло, железная банка с зубным порошком и зубная щетка. Перед тем как сообщить Жукову, что отныне я вновь буду находиться на Западном фронте, ежедневно публикуя в газете вместе со своим коллегой репортажи, я должен был выполнить поручение, полученное в Смольном от А. А. Жданова. Он просил передать Жукову, что обещанную посылку отправил и пусть ждет новых. Признаться, не знал я, что кроется под словом «посылка».

— Слышишь, вот она, «посылочка»-то! — Жуков кивнул на открытую форточку. За окном гремела артиллерия. Бросив на черный клеенчатый диван все свои туалетные принадлежности, Георгий Константинович остановился возле высокой конторки с топографическими картами и стал писать до такой степени старательно, что даже раза два высунул кончик языка.

— Питерские-то нас, москвичей, щедрой рукой одарили, прислали стволы для пушек. И знаешь, на чем? На «дугласах».

К этому слову Жукову уже ничего добавлять не надо было. Я хорошо представлял себе этот воздушный мост. Могу даже его описать, летал там. Всю дорогу шли мы на бредущем, плотно прижавшись крылом к крылу, словно большие птицы, поклявшиеся никогда не расставаться. Большие птицы? Вернее было сказать, что летим на пороховых бочках. Наши самолеты набиты ящиками и коробками с взрывчаткой. Она была необходима ленинградским заводам. Самолеты шли над землей, содрогавшейся от взрывов снарядов и бомб, над землей, плотно заставленной фашистскими зенитками, норовившими всех нас до одного взорвать в небе. Наш рейс считал я, как и все мы, вполне закономерным, обычным. Тяжелее всего, разумеется, было во время полета экипажам машин. Немало летчиков, штурманов, стрелков-радистов отдали жизнь этому воздушному мосту. Осажденный Ленинград нуждался в начинке для боеприпасов, и ее доставляли из Москвы. Только пошли на посадку, как над Комендантским аэродромом появилась туча «мессеров»... А ночи ленинградские! Их прозвали мы тогда железными. Так оно и было. Ночь — это бесконечный грохот и скрежет металла, бьет балтийцы из тяжелых морских орудий, бьет наша зенитная артиллерия по вражеским самолетам, не умолкают орудия фашистские, не прекращаются взрывы от вражеских снарядов и бомб, треск авиационных пушек и пулеметов. Понятно было, что значат для ленинградцев те самые стволы, о которых только что сообщил мне Жуков.

«Посылка», сказал Жуков, вряд ли предусматривалась Ставкой. Сработали питерские рабочие для москвичей. Я же, слушая в ту минуту полководца, чувствовал, что он потрясен щедростью душевной ленинградцев.

И вот я стою в Перхушкове возле письменного стола Георгия Константиновича. Совсем недавно был я у него в Смольном. И сейчас, глядя на скромную обстановку, на заляпанный лиловыми чернилами старенький, расшатанный письменный стол, вспомнил громадный чернильный прибор в Смольном, замечательный тем, что состоял он из множества фигур, изображавших охоту на медведей. И чернильницы, и пресс-папье, пепельницы, спичечницы — все были усыпаны топыгиными и мелкими медвежатами, охотниками, нацелившимися из своих ружей, егерями, легавыми с длинными, болтающимися до ног ушами.

— Забавно, — сказал Жуков, — да только негде карту развернуть, весь мой стол мишки захватили.

Теперь под Москвой речь у нас пошла о положении на фронте. Ничего утешительного Жуков сообщить в тот момент не мог. Он лишь сказал:

— Уверенность в правоте своего дела. Как бы тяжело ни было — в победу верить, иначе — поражение. Окруженцы рвутся к своим, чтобы снова воевать. Партизаны, действующие в глубоком тылу, передают шифровки о своих деяниях. Не записывай. Деяния большие, важные, но пока рекламировать не будем. Вот что запиши. Иногда среди шифровок попадают заявления в партию. Подобного, по моему, в истории не было.

Признаться, на меня лично самое большое впечатление произвел тогда рассказ Жукова о «посылке». Как потом узнал, за словом этим жуковским — «посылка» — крылось немало других волнующих дел, подробностей, а если угодно, истинных трудовых и ратных подвигов. Начать с того, что в Москве сперва на «Красной Пресне», а затем на заводе «Серп и молот» кировские рабочие, те самые, которые давали фронту самые тяжелые, самые мощные танки, открыли «гарантийную» мастерскую по ремонту боевых машин. Прикатили в Москву кировские ребята в августе, еще до того, как город на Неве оказался в осаде. Захватили с собой летучки, инструмент, запасные части. И вот сейчас, когда Москва оказалась в опасности и каждый танк был на вес золота, поврежденные танки под обстрелом, с величайшим риском для жизни эвакуировали с полей боев и на буксире доставляли в «гарантийную» мастерскую. Бывало и так, что экипажи этих танков оказывались земляками ремонтников. Ведь дело в том, что кировцы не только изготовляли боевые машины, но часто на них уходили в бой добровольцами. Словом, как бы тяжело ни был изранен КВ, сколько бы ни пришлось выдержать его броне снарядов и огня, а тут его исцелят. И сердце танка не останется без внимания. Пусть умолкшее,

изувеченное — все равно здешние «доктора» найдут подходящее «лекарство», помогут и сердцу танка. Ясно, разумеется, что сердце танка — это его двигатель. Ремонтировали и двигатели.

Еще узнал я, что к Жукову регулярно в Перхушково заезжают директор, главный конструктор, ведущие инженеры. Не столько интересуются качеством своей продукции, на нее жалоб не было у Жукова, а положением на фронте. Жуков то и дело подводил их к карте, посвящал в обстановку, а затем, сложив руки на животе, как бы намекал: сами видите, дело труба, без «коробочек» из беды не вылезти.

И видели танкостроители, и убеждались, и принимали самые героические меры, чтобы выручить друга в беде, снабдить его «коробочками». Однажды речь зашла о том, сколько же этих «коробочек» нужно в день, чтобы начисто уничтожить врага, взялись все за карандаши, за блокноты, кто-то даже потянулся за случайно оказавшимися под рукой счетами. Считали, считали и заключили: не меньше 100 штук в день. Пока же каждый танк был на вес золота, а подобют — жизни не пожалеют, чтобы на буксире вытащить под самым сильным вражеским артиллерийским огнем и приволочь в знаменитую «гарантийную» мастерскую.

30 октября

Уже десять дней мы с коллегой по «Красной звезде» Я. Милецким публикуем на первой полосе ежедневно репортажи о положении на Западном фронте. Перерывы в репортажах исключаются. Вот и сейчас — уже второй час дня, а мы с Милецким находимся за березовой рощей, изуродованной артиллерийскими снарядами, в окопе, залитом дождевой водой. Это передний край обороны Москвы. Неподдалеку на перекрестке стоят на изготовке «катюши». При нас они выпустили свои грозные снаряды. Командир дивизии полковник Карамышев как бы невзначай заметил:

— С этого места смотреть на «катюшу» очень даже приятно. А вот вчера взяли мы в плен нескольких немцев, и они поделились с нами впечатлениями о том, как у них выглядит «катюша». Что там говорить, один из пленных, в чине полковника, так и заявил: подобного не знал, не видел, не предполагал, мощь гигантская, не устоять против этой вашей штуки никому, ручаюсь...

Карамышев со своей дивизией прибыл в Подмосковье с Дальнего Востока. Ну, естественно, сразу же стали мы вспоминать Халхин-Гол. Карамышев, когда узнал, что я был там во время боев, тут же стал знакомить меня с ветеранами дивизии, и среди них оказалось немало моих знакомых.

После тридцатикилометрового марша в дождь и непогоду по размытой дороге дивизия вступила в бой. Она должна была приостановить наступление немцев на Можайской автостраде, закрыть им дорогу на Москву. Неоднократно контратакуя фашистов, дивизия продвинулась на семь километров и выбила немцев из пяти населенных пунктов, заняв тот самый перекресток, где в данную минуту стояли указанные уже «катюши».

11 ноября

Снег валит крупными хлопьями, все поле вспахано снарядами, постепенно привыкаешь к гулу, привыкаешь так, что, когда на несколько минут наступает тишина, как-то не по себе.

Черной ли ночью, туманным ли утром, все время гремят наши и немецкие пушки. Немцы контратакуют по нескольку раз в день. Отгоняют их — выстрелы удаляются, снова немцы приблизятся — и канонада приблизится.

Думаю, если перечислить здесь все заголовки наших ежедневных репортажей, можно будет получить полное представление о положении на фронте. Вот они, эти заголовки: «Остановить врага, рвущегося к столице», «Положение на фронте по-прежнему остается весьма напряженным», «Кровопролитные бои за Москву»...

Однажды редактор потребовал немедленно отправиться в четвертую танковую бригаду, сражавшуюся на Волоколамском шоссе. День для бригады был более чем знаменательным. На первой полосе газеты опубликован Указ о награждении командира полковника Михаила Ефимовича Катукова орденом Ленина. В тот же день постановлением Совнаркома СССР ему было присвоено звание генерал-майора танковых войск. Многих солдат и офицеров бригады наградили орденами и медалями, двое стали Героями Советского Союза. Но главной новости сообщить еще не успели, а именно — приказа наркома обороны № 337 о переименовании 4-й танковой бригады в Первую гвардейскую. Редактор сказал, что нельзя ни минуты терять, а немедленно отправляться к гвардейцам. То и дело повторял он:

— Вам понятно, это первые гвардейцы Красной Армии, таких не было и пока нет. Вам поручено почетное дело, вы должны первыми поздравить гвардейцев с высоким званием. Надо подготовить целую страницу, и запомните: без выступления самого Катукова в Москву можете не возвращаться.

Вот и все напутствие.

Из Москвы выехали, когда уже смеркалось. Ехать предстояло не так-то далеко, но по тогдашней обстановке на фронте — со многими объездами, крюками. Правда, позднее к этим сложностям прибавилась еще одна. В пути узнали от одного саперного начальника, что идет

минирование дороги на случай прорыва немцев. Естественно, были приняты меры к тому, чтобы мины и фугасы преждевременно не взорвались. Однако ж...

И вот мы в штабе гвардейцев. Подумать только! Гвардия, и мы будем первыми писать о ней, о первой советской гвардии. Как же выгладит она? Из старой литературы мы знали, что о гвардейцах всегда говорили как о блестящих офицерах, аристократах... Самого Катукова на месте не оказалось. И мы долго сидели в большой комнате единственной уцелевшей в деревне избы и беседовали с его офицерами. Тюк сегодняшнего номера газеты, доставленного нами в бригаду, был тут же шумно разобран и унесен по батальонам. Что же касается главной новости — приказа о присвоении бригаде гвардейского звания, то, как мы и ожидали, никто об этом еще не слышал. Терять времени нельзя было. В приказе наркома лишь вкратце сообщалось о том, что предшествовало присвоению гвардейского звания бригаде, и мы с жадностью накинудись на детали, подробности. Было известно, что бригада, несмотря на значительное превосходство противника, нанесла ему тяжелые потери и выполнила поставленную перед ней задачу, прикрыв своими танками сосредоточение наших войск.

Сейчас бригада действует в составе войск, защищающих подступы к Москве. На фронте появилась дивизия из состава экспедиционного корпуса немцев в Африке. Их танки окрашены в ядовито-желтый цвет пустыни, песков... Катукowski десантники уже поймали и «африканского танкиста», тот говорит, что их дивизия сражалась в Ливии против англичан, а сейчас вот послали их брать Москву.

Наши блокноты были целиком исписаны рассказами, услышанными в этой холодной комнате, холодной на то, что посредине стояла железная печь. Но где же Катук, командир бригады? Без его выступления редактор запретил возвращаться в Москву. И вот на пороге избы показался совершенно оочечневший от мороза человек. Стряхнув снег с сапог, вошел в комнату. меховая шапка, кожаная куртка, в петлицах полковничьи шпалы. Первый долгом протянул руки к печке.

— Морозец основательный, — произнес он простуженным голосом. — Как дела? — спросил у одного из офицеров.

— Все в порядке, товарищ генерал-майор, — ответил тот и протянул Катуккову привезенную нами газету с постановлением Совнаркома о присвоении ему генеральского звания и Указом Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина.

Катук держал перед собой газету, но вот читал ли он в это время, сомневаюсь. Взгляд был отсутствующий и далекий.

— Под носом у немцев были, черт подери, — произнес он. — Но уж ладно. Поддадим им жару завтра.

И тут я решил, что подошел момент сообщить, что он отныне командует 1-й гвардейской бригадой, сообщить и поздравить.

— Гвардейцы! — повторил Катуков и, сняв шапку, задумался. Я же, глядя в эти минуты на Катукова, знал, что он вернулся из разведки. Такова его манера: перед боем собственными руками прощупать землю, по которой потом пойдут танки. Ничего с ним не поделаешь.

— Наш Катуков с хитрецей, — говорили о нем, но в словах этих была гордость, а не укор. Вот, например, он первый применил танковые десанты под Орлом. Дни были там очень трудные. В районе Мценска немецкие танки пытались зайти в тыл бригаде. Катуков предусмотрел подобный маневр врага и выставил на шоссе прикрытие. Железнодорожный мост охранялся танками с таким расчетом, чтобы немцы не смогли пройти из Мценска. Все было направлено к тому, чтобы остановить продвижение танков Гудериана в Москву, а план был у немцев именно таков. Они ни на минуту не сомневались в том, что Гудериан ворвется в Москву. На протяжении всей войны фамилия этого танкового генерала прославлялась немцами на всех перекрестках. Он считался непревзойденным полководцем. И именно он дал гарантию лично Гитлеру, что будет в Москве. Имя же Катукова в тот момент мало кому было известно, да и бои, которые вел он тогда под Орлом, на фоне нынешних событий великой Московской битвы не так уж бросались в глаза. Да, было известно, что Катуков, несмотря на полное численное превосходство врага, не спешил покидать позиции, а всячески изводил его, истреблял. Бои иногда длились с самого утра до вечера, и ни один человек из катуковской бригады не покидал танка. В машинах было жарко, люди задыхались от пороховых газов, пот лил ручьями, во рту черно и горько от гари пушечных выстрелов, глаза слезились, уши болели, кричат внутри танка, но друг друга не слышат.

Фашисты непрерывно вызывали себе на помощь авиацию. Танки Катукова, маневрируя, продолжали бои под бомбежками.

18 ноября

Москва, площадь Коммуны, Центральный Дом Красной Армии. Стою в почетном карауле у гроба погибшего под Крюковым члена Военного совета, начальника политуправления Западного фронта дивизионного комиссара Дмитрия Александровича Лестева. Колышется от ветра, проникающего через открытую форточку, белая марля, и мне кажется, что Лестев жив, пытается подняться.

Это был мой самый большой друг на фронте. С ним встречался я в Монголии, на Халхин-Голе, с ним виделся и перед войной, а настоящему узнал, понял начиная с июля — августа 1941 года, мотаясь вместе с ним по фронту. Не знал я другого человека, который бы так держался при любой опасности, который бы умел так душевно

разговаривать с солдатами, вникать во все мельчайшие особенности солдатской фронтовой жизни. Таким был он и со мной, военным журналистом. Может быть, если бы не он, его постоянные приглашения «в дорогу», не смог бы я в те тяжкие дни столько написать, познакомиться со столькими интересными людьми. Ведь это он, Лестев, познакомил меня с солдатом Пашковым, которого немцы расстреляли, бросили в яму, в кучу других убитых, а солдат Пашков волей случая остался жив, выбрался из-под горы трупов, окровавленный, изувеченный, добрался к своим...

Лестев свел меня с полковником Лизюковым, которого в то время мало кто знал. Худенький, невысокого роста, усталые глаза, впалые щеки... Был полковник в солдатской пилотке, летнем хлопчатобумажном солдатском костюме. Голос тихий, спокойный, речь неторопливая. Между тем именно этот человек при непрерывных налетах вражеской авиации с применением воюющих бомб, тогда еще только входивших у немцев в моду, довольно быстро подавил панику, возникшую среди некоторой части солдат на переправе, форсировал Березину с артиллерией, бронемашинами, грузовиками. Мало того, позаботился, чтоб следовавшие за ним части могли воспользоваться переправой. Лестев, узнав обо всем этом и сам убедившись, что все именно так и было, сказал мне в машине, когда возвращались в штаб:

— Ты сказал, что трудно с темами. Ведь вот тебе настоящий герой войны!

Я в тот же день написал очерк, передал в Москву. И какова же была моя радость, когда в один и тот же день в газете появился и очерк и Указ о присвоении звания Героя Советского Союза полковнику Лизюкову! К этому был прямо причастен Лестев. Дмитрий Александрович обратился в Военный совет Западного фронта с предложением о награждении полковника. Вскоре тот стал генералом, возглавил Первую Московскую мотострелковую дивизию, удостоенную в горькие ноябрьские дни под Москвой звания гвардейской.

Лестев познакомил меня с сыновьями Фрунзе, Чапаева, Пархоменко и сказал:

— Вот тебе тема — сыновья героев гражданской войны идут по стопам отцов, сражаются на полях Великой Отечественной.

Да разве вспомнишь все, что было у меня связано на войне с этим человеком, сыном сельской учительницы. Лестев упорно величал себя «кубанским казаком», заодно и меня так окрестил, хотя был он родом липецкий, а по старому районированию — орловский. А вот Михаил Александрович Шолохов, успевший не просто познакомиться, но сдружиться с Дмитрием Лестевым, называл его своим земляком.

Возможно, был я одним из последних собеседников этого замечательного человека. В ту последнюю ночь был Лестев настроен весело, все время шутил, спрашивал, представляю ли я себе, что

значит «задать перцу», и тут же, не дожидаясь ответа, рассказал веселую историю, как в юности у них наказали одного слишком наглого ухажера деревенские девушки, наказали при помощи нескольких стручков красного перца. И что же: «Кинулся тот в бегство... наверное, и до нынешнего дня все в бегах. Понял? Вот и мы зададим Гитлеру перцу, и побежит он от Москвы, и будет бежать до самого Берлина, и в Берлине места себе не найдет...»

Когда Лестев все это мне рассказывал, была на нем серая смушковая ушанка, и именно ее пробил осколок. Лестев встретил смерть на самом переднем крае Великой битвы за Москву. Не я один, а и другие, стоявшие в почетном карауле у гроба Лестева, плакали. Никак не могли мы примириться с этой смертью, хотя смерть в те дни круглые сутки косила и косила. Потом в кармане убитого Лестева нашли письмо, которое не успел он отправить домой. Вот оно: «Здравствуйте, родные Катенька, Маруся, Нина и Кируська!!! Жив, здоров. Рад, что дочки мои хорошие, учатся хорошо. Вера так написала про Киручку, что у меня возникло решение забрать ее к себе, будем с ней воевать вместе. Катенька! Попроси дочек, чтобы они поменьше развивали Киру, а то я за нее боюсь. Говорят, что она умна не по годам... Почему вы мало пишете? Как вам не стыдно? Целую крепко, крепко. Ваш папка. До приятной встречи».

Кроме неотправленного письма, в нагрудном кармане гимнастерки Дмитрия Александровича Лестева хранилась записка от писателя Михаила Александровича Шолохова. Вот она: «Дорогой т. Лестев! Прошу принять от Вашего земляка привет и скромный подарок. Думаю, что мне еще придется увидеться с Вами, а пока желаю Вам здоровья, военных удач и всего доброго. Крепко жму руку. М. Шолохов». Об этой записке знал я от Лестева. Дмитрий Александрович добродушно шутил по поводу того, что писатель решил его досрочно поздравить с днем рождения. В дни битвы за Москву, 24 сентября 1941 года, Лестеву исполнилось 37 лет, а писатель явился с поздравлением 12 сентября... Лестев очень сожалел, что ожесточенные бои помешали встрече, записку бережно хранил.

...Не думал я, что придется писать в газету об этом горе. Прибыли в Москву прощаться с Лестевым бойцы с самого переднего края. Не успели снять с себя связки гранат, автоматы, винтовки. Были венки, были громадные букеты цветов... А когда траурная процессия вышла на площадь Коммуны, небо столицы было затянато огромной серой тучей. Когда траурная процессия с эскортом пехоты и кавалерии двинулась по улицам Москвы, город замер по воздушной тревоге. Процессия продолжала медленно двигаться. Грохотали зенитки, рвались бомбы, скинутые на Москву фашистскими стервятниками, стрекотали их авиационные пушки и пулеметы. Все мы медленно продолжали шагать за гробом.

21 ноября

Продолжаем публиковать свои ежедневные репортажи о положении на Западном фронте. Сегодня под заголовком «Остановим врага, рвущегося к столице». Стараемся писать максимально лаконично и без утаивания истинной обстановки. Писатель Петр Андреевич Павленко нас подбадривает.

— Вы,— говорит он,— выбрали самый правильный тон. В такое время только так надо писать.

А обсуждаются не бог весть какие строки нашего репортажа. Вот они: «Положение на фронте по-прежнему остается весьма напряженным. Противник вводит в бой новые силы и, обладая на ряде участков превосходством в танках, атакует наши части и за вчерашний день вынудил их оставить ряд населенных пунктов».

...Еще одна большая потеря. На том месте, где позавчера стоял гроб с Дмитрием Лестевым, сегодня прощаются с генералом Панфиловым — командиром стрелковой дивизии, которая два дня назад, по давнему представлению Лестева, стала гвардейской. Все так же гремят орудия и, ударяясь о мерзлую землю, с треском рвутся мины. В заснеженных окопах, в лощинах лежат бойцы, готовые в любую минуту ринуться в бой. Мы побывали у них, затем перебрались на командный пункт дивизии. Заунывнее, чем всегда, гудел зуммер. Это телефон командира дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Нет, больше не поднимет рука его телефонную трубку. В последний раз в эту трубку, по этим проводам разнесся хриловатый голос, но твердый, решительный: «Умрем, но танков не пропустим!» Это Иван Васильевич отдавал последний приказ командиру отряда истребителей танков.

И вновь почетный караул. Среди прославленных генералов — невысокого роста девчушка в солдатской шинели, ушанке... Это дочь Панфилова — Валя. Она собирала отца в далекой Алма-Ате на фронт и вместе с ним отправилась на войну.

5 декабря

Начало победы советского народа в Великой битве за Москву. Вот несколько строк из первого сообщения о победе:

«Западный фронт, 4 декабря (по телефону от наш корр.). Наши части нанесли серьезное поражение врагу, ликвидировав его прорыв в глубину обороны... Во второй половине дня 2 декабря части командиров Говорова и Ефремова перешли в наступление. Бои продолжались в течение полутора суток. К рассвету 4 декабря бои приняли еще более ожесточенный характер. Под напором наших войск сопротивление противника было сломлено, и он начал откатываться.

По далеко не полным данным, немцы оставили на поле боя свыше 2000 трупов солдат и офицеров... Бои не прекращаются. Наши части продолжают преследовать врага...»

15 декабря

События развивались так, что чаще всего надежнее было самому доставить в редакцию очередную корреспонденцию о продолжающемся наступлении под Москвой. Как-то боязно было, что текст, переданный по Бодо, может где-то задержаться, не попасть своевременно в редакцию. И я мчался из района боев в Москву, на улицу «Правды», 24, куда переехала наша редакция. Не скажешь, что в пути все было гладко, десятки объездов, крюков — все без исключения вследствие наступления наших войск. Много трофейных машин, орудий, танков, много убитых солдат и офицеров врага, много мертвых лошадей — словом, в «пробках» недостатка не было. Происхождение каждой «пробки» могло служить темой для очерка, репортажа, корреспонденции. Это были поля великого сражения за Москву.

Продиктовав в редакции машинистке очередной репортаж, тут же отправлялся обратно, боясь прозевать новое значительное событие на фронте. А событий было немало.

Предстояло вступить в Клин. Ясно, что теперь среди воинов участились разговоры о Петре Ильиче Чайковском. Впрочем, генералу Лелюшенко, чья армия окружила Клин, было не до музыки... Клин был окружен, а гитлеровцы не думали складывать оружие, они принимали меры для спасения гарнизона через оставшиеся небольшие проходы. Надо было так замкнуть кольцо, чтоб ни одной лазейки не осталось. Бригадный комиссар Абрамов, с которым были мы знакомы по другим боям, обратился ко мне за советом: не подскажу ли, как повлиять на вражеский гарнизон, как объяснить гитлеровцам, что их дальнейшее сопротивление бесполезно? Сидели мы в крошечной комнатенке неподалеку от Клина. Уже давно наступила ночь. Спросил у Абрамова, нет ли данных о жизни осажденного гарнизона. Вызвали начразведотдела. Тот тут же предложил интересный радиоперехват, переведенный нашими девушками. Речь в нем шла о панической перебранке между высокими чинами гитлеровцев. Ссорились из-за каждой канистры бензина для драпающих из Клина, из-за провианта, обмундирования. Без труда удалось установить не только фамилии, но и должности. А что если в виде листовки закинуть в Клин все эти радиоперехваты с соответствующими нашими комментариями? Идея всем понравилась. Но где раздобыть типографию, чтоб отпечатать листовку на немецком языке в достаточном количестве экземпляров? Абрамов спросил у меня, не соглашусь ли поехать в Москву (Главное политическое управление Красной Армии) и там все уладить с таким

расчетом, чтоб к утру уже быть вновь в армии. Мысль правильная, но осуществить это невозможно. Начать с того, что прямой дороги из Клина в Москву не было, линия фронта проходила так, что в Москву можно попасть только через Загорск... К тому же ночь. Дороги в Москву были минированы сперва врагом, затем нашими — в порядке профилактики, чтоб не вздумалось какому-нибудь фашистскому танку прорваться в Москву.

И все-таки с написанной вчерне и утвержденной Военным советом 30-й армии листовкой отправился я в Москву. Описать эту ночную дорогу невозможно, это бы начисто отвлекло от событий, волнующих меня в данный момент. Скажу лишь, что до наступления утра добрался в Москву и, разумеется, первым делом устремился к редактору. Однако тот, услышав, что привело меня в столь поздний час, тут же переадресовал на станцию метро «Кировская», где в то время находилась Ставка, в том числе и руководство ПУРа. И вот я в метро «Кировская». Признаться, за всю войну ни разу не доводилось опускаться по эскалатору. К слову, не работал он, и по ступенькам пришлось шагать. А там, как только обо мне доложили, последовал ответ: представить текст листовки. Я передал два листочка адъютанту, некогда работавшему у нас в «Красной звезде» постоянным корреспондентом по Белорусскому особому военному округу. Пока начальство знакомилось с бумагой, старый друг соорудил мне громадную глазунью, заварил чаю... Словом, я буквально ожил. Так по крайней мере он уверял. Я же волновался, торопил приятеля. Но вот и ответ поступил. Я могу следовать обратно в армию с гарантией, что к моему приезду листовка не только будет отпечатана соответствующим тиражом, но и сброшена в осажденный гитлеровский гарнизон.

Все так и вышло. В два часа ночи следующего числа наши войска вступили в Клин, а утром у первого же сдавшегося в плен гитлеровского офицера была обнаружена моя листовка. Я еще никогда в жизни так не радовался ни одному своему фронтовому очерку, как строчкам той листовки.

16 декабря в «Красной звезде» появилась большая моя корреспонденция под названием «Как был отбит город Клин». Разумеется, в ней ни слова не было о том, о чем записал я в своем дневнике. Подробнейшим образом рассказывалось о боях, о героях боев.

20 декабря

Ночь перед вступлением в Волоколамск прошла в открытом поле, обдуваемом со всех сторон ледящим ветром. На громадном пространстве сохранилась одна-единственная избушка, сохранилась не иначе как чудом, ибо от некогда большого села даже трубы дымоходных не осталось — до такой степени ожесточились фашисты,

почуяв, что часы их на подступах к Москве сочтены. Не хватило ни скирд соломы, ни бочек с керосином, ни-пакли. Поджигали, как безумные, носились от избы к избы, совершенно не интересуясь, есть ли там кто живой, нет ли. Немало крестьянских семей заживо сгорели. Некоторых, кому спастись удалось, видел, разговаривал с ними.

В единственной уцелевшей избушке расположился командующий 16-й армией генерал Константин Константинович Рокоссовский. Так случилось, что, находясь с первых дней войны на Западном нашем фронте, зная, что там воюет Рокоссовский, я с ним ни разу не встретился, а расстались мы еще в тридцатых годах на Дальнем Востоке, в одном из глубинных гарнизонов, расположенном на полпути между Хабаровском и Владивостоком. Был Рокоссовский тогда молод, задорен. Короткая синяя венгерка, отороченная белым каракулем, именной серебряный клинок, тонкие шпоры, которые называли тогда «малиновым звоном». Рокоссовский — большой, стройный, пружинистый — стоял посреди манежа, наблюдая, как солдаты берут барьеры. Через одни из них кони словно проплывали легко, грациозно, возле других стояли как вкопанные в нерешительности. Впрочем, все зависело от молодых всадников. Ими-то и интересовался сравнительно молодой тогда комбриг, но уже с боевыми орденами гражданской войны. К слову сказать, один из соратников будущего вождя монгольского народа Сухэ-Батора, Рокоссовский на манеже в отличие от других бывалых конников не укорял неудачливых всадников, не оскорблял крылатым эпитетом: «Сидишь на коне, как собака на заборе». Заметив, что кому-то из ребят особенно тяжело взять препятствие, подходил к нему, помогал прыгнуть на землю и вот сам уже в седле. Схватив поводья, стремительно брал одно за другим неприступные для молодого, неопытного препятствия, объяснял.

И вот вновь передо мной Рокоссовский. Длинное кожаное пальто, потемневшие бурки на ногах, серая смушковая ушанка... На животе висит большой планшет. Стоит ли, думаю, напоминать о том далеком дальневосточном времени? Но Рокоссовский уже встает из-за сколоченного наспех столика, на котором горит восьмилиннейная, не более, керосиновая лампа. Не так много у меня вопросов, всего один-единственный: будем ли утром в Волоколамске? Рокоссовский глядит на меня с едва уловимой улыбкой.

— Вы служили в ОКДВА? — задает первым вопрос он, а не я.

ОКДВА — так называли все мы тогда свою любимую, воспетую во многих хороших песнях Особую Краснознаменную Дальневосточную Армию. С ней связаны и «штурмовые ночи Спасска» и «волочаевские дни», а позднее и бои на КВЖД, и песня, родившаяся во времена тех боев, — «Дальневосточная, даешь отпор».

Конечно же, я рад, что командарм выручил, облегчил задачу.

— Да, — отвечаю. А главного вопроса не задаю: Волоколамск! И опять Рокоссовский приходит на выручку.

— Далеко не уходите,— произносит он тихо,— держитесь поближе.

Ни одно самое обстоятельнейшее интервью не могло дать такого точного, исчерпывающего ответа. Значит, будем, будем в Волоколамске! Значит, конец так называемому Волоколамскому направлению, которое столь будоражило, волновало, оскорбляло умы и сердца миллионов советских людей.

Хочу ответить, поблагодарить, но командарм уже склонился над картой. Стараюсь тихо удалиться. Снаружи все так же лютует свирепый ветер. Маячат силуэты гитлеровцев, шагающих под конвоем наших разведчиков. Это все «языки» из самого Волоколамска. Оказывается, Рокоссовский просил доставить парочку прямо к нему в избу — есть у него желание лично с ними побеседовать.

Признаться, неплохо бы и мне присутствовать, да нет, ни к чему мешать командующему. Ведь о главном он уже мне сообщил: будем в Волоколамске!

...На сей раз еду на чужой «эмке», моя еще вчера возле Снегирей разбилась. Писатель Евгений Петров, редактор «Огонька», а в данный момент еще и корреспондент «Известий», пригласил. Едем, как тогда было принято говорить, «брать Волоколамск». Едем незадолго до наступления рассвета...

Постепенно глаз привыкает к этому потоку внезапно остановившихся немецких грузовиков, танков, мотоциклов, легковых машин, повозок. Все застыло на дороге в том виде, в каком бежало под ударами наших войск. И когда местами на протяжении каких-нибудь 500—600 метров не попадаются на пути разбитые немецкие машины или свалившиеся в кювет немецкие танки, воспринимаешь это как нечто необыкновенное. Так выглядит сегодня дорога на Волоколамск, из которого наши войска только что выбили фашистов.

Кто проезжал по этой дороге, тот надолго запомнит всю эту картину. Всюду ощущаешь одно — поспешность отступления гитлеровцев. Они собирались принять какие-то меры, в каком задержаться, но их настигали, и они не успевали осуществить задуманное. Вот тяжелые орудия. Фашисты собирались подвергнуть Москву обстрелу из этих громадин. Аккуратно сложены штабелями снаряды. Все было приготовлено к тому, чтобы открыть огонь. Огня открыты не пришлось. Мало того, удирая, враги бросили батареи тяжелых орудий. Мы видели прислугу этих пушек. Ее ночью выволокли из нор, куда она попятилась. Фашистские артиллеристы появились перед нами, как призраки.

Опять дорога на Волоколамск. Заснеженная, лесистая, местами крутая. И повсюду таблички с немецкими надписями. Указатели дорог, лазаретов, но больше всего дощечек на крестах. Везде кресты, большие и малые. В одном месте всего лишь пять-шесть, в другом — сотни.

Труден был путь на Волоколамск для наших войск. Не было ни дня, ни ночи, когда бы наши бойцы имели хоть несколько часов для отдыха. Иногда усталость доходила до того, что бойцы засыпали на снегу.

Гитлеровцам стало ясно, что больше оставаться здесь нельзя. Они готовились бежать. Убегая, создавали целые минные галереи, повсюду раскидали саморазрывающиеся фугасы. А снег все падал и падал, и трудно было потом разыскать, где мины, где фугасы. Бойцы и командиры, герои боев за Волоколамск, шли под непрерывной угрозой смерти. На их глазах впереди, справа и слева неожиданно взлетали в воздух люди, лошади, повозки, машины. Но никогда не останавливалась смертельная опасность. Чем труднее становилось идти, тем сильнее разгоралась ненависть к врагу.

На пути мы встречаем десятки деревень, сожженных фашистами. У пепелищ согнулись женщины, старики и дети, они что-то ищут. Повсюду валяются черепки и скрюченные железные кровати.

Сколько слез пролито над этими пепелищами! Сколько людей заживо похоронено! Лежат обуглившиеся трупы. Людям трудно узнать даже самых своих близких.

Вот он, Волоколамск, некогда тихий подмосковный городок, а сейчас город пылающих пожаров. Здесь рвались снаряды и стены изрешечены пулями. Крыши провалились, зияют дыры окон. На протяжении двух месяцев этот город привлекал к себе внимание всего мира. Кто из нас не прислушивался к тому, что происходит на Волоколамском направлении! Со вчерашнего дня такого направления на нашем фронте больше нет. Снова есть советский, окровавленный, ограбленный гитлеровцами, но наш, советский город.

Всю прошлую ночь бандиты жгли здесь дома, пожары пылали и на рассвете. И гитлеровцы бежали отсюда, их преследовали по пятам. Они не успевали подносить спички к стенам, облитым керосином. Они сожгли многое, но не все, что хотели. Им этого не дали сделать.

Небо над городом затянато одной огромной серой тучей. Снег еще черен от вчерашних и сегодняшних разрывов мин и снарядов. Всюду валяются трупы людей, лошадей. Все говорит об убийствах и грабежах фашистов. Когдаходишь к площади, не веришь, что сегодня 20 декабря 1941 года. Не веришь тому, что перед твоими глазами. На площади — виселица. Фашисты повесили восемь советских граждан. Два месяца висели в городе замороженные трупы. Сейчас на виселице болтаются лишь веревки.

Кроме Евгения Петровича Петрова, еще несколько военных корреспондентов столичных газет, среди них Евгений Кригер, Павел Трошкин. Крупные слезы текут по лицу Петрова. Он их не вытирает. Из дома выходит женщина, на чьих глазах произошло это зверство. Она все видела из-за занавески своего окна. Петров не слушает женщину. Он как бы окаменел, не шелохнется, а слезы текут и текут.

Позднее узнаю и фамилии повешенных, встречу с их родными, побуду дома у них. Но сейчас, признаться, сейчас и я не в силах ничего записать в свою записную книжку, даже немецкие слова, выведенные рукой фашистского бандита на табличке, прибитой к виселице. Нет, ничего не способен я ни слышать, ни записывать.

Восемь героев, которых гитлеровцы публично повесили, лежат на земле. Бойцы, первые ворвавшиеся в Волоколамск, сняли повешенных. Среди жертв фашистских грабителей — две девушки. Те, что были свидетелями этого кошмарного убийства, рассказывают о девушке в коричневом пальто. Она лежит сейчас на снегу, раскинув широко руки, с открытыми глазами, поднятыми к небу. Когда ее вели на казнь, она крикнула: «Я умираю за Родину!»

Восемь неизвестных героев отдали жизнь за Родину, и Красная Армия грозно спрашивает сейчас с палачей.

...Пятиэтажный дом по Пролетарской улице № 3/6. Сюда фашисты согнали раненых красноармейцев, захваченных в плен. Перед бегством из Волоколамска изверги сожгли этот дом с ранеными бойцами. Каждого, кто пытался выбежать из этого ада, расстреливали.

Так действовали в Волоколамске враги. Они грабили, убивали, насиловали. Каждому дому, каждой семье принесли они много несчастья, горя, слез. Никто не простит им!

...Снова дорога. Перед нашими глазами возникают результаты недавних боев с фашистскими оккупантами. Опять тысячи немецких машин, танков, орудий, снарядов, брошенных на нашей земле. Могилы солдат и офицеров, трупы фашистов. Настал час расплаты.

Волоколамск стал для врагов кладбищем живой силы и техники. Это за все горе, которое принесли в течение этих двух месяцев жителям советского города. Но до конца гады еще не расплатились. Им еще долго придется расплачиваться.

Мы видели на машинах, оставленных фашистами, подковы, прикрепленные к радиаторам. Враги надеялись найти в Волоколамске счастье. Многие из них нашли здесь смерть.

31 декабря

Не можем пожаловаться, что Новый год нас недостаточно щедро встречает. Начнем с того, что впервые за всю вторую мировую войну в карманном календарике, выдаваемом каждому без исключения гитлеровскому солдату, обнаружена существеннейшая опечатка. Маленькая синенькая книжечка открывается перечнем под названием «Немецкие памятные дни». Идет перечисление государств, капитулировавших перед фашистской армией, указывается день, месяц, год. Слово «капитулацион» в каждой строке. Строки

расположены в таком порядке, что даже и малограмотный немецкий солдат может без труда установить, что между падением одного государства и другого, как правило, проходило не более четырех-пяти дней. И вот, повторяю, вкралась опечатка. Судя по всему, календарик печатался в заштатной, провинциальной типографии, печатался задолго до Нового года. Бумага серая, газетная. Синенькая обложка с выпуклыми цифрами «1942» тоже не ахти какой красоты. Зато в список «немецких памятных дней» попала строчка, которая должна была действовать на каждого владельца календарика, как бальзам на сердце: «2 декабря — взятие Москвы». Допускаю, что солдат, у которого был изъят календарь вместе с орденом железного креста на засаленной грязной ленточке, солдат этот, предпочитавший вместо форменной фуражки с изображением «мертвой головы» на кокарде другой головной убор, а именно — грязное трофейное вафельное полотенце плюс трофейные же, явно бывшие в употреблении фланелевые портянки, мог и не заглянуть в полученную у каптенармуса вместе с другими предметами солдатского обихода эту вот канцелярскую принадлежность. Скорее всего солдат этот также не знал, что германское информационное сообщество в начале декабря, что «германское командование будет рассматривать Москву как свою основную цель даже в том случае, если Сталин попытается перенести центр тяжести военных операций в другое место. Германские круги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков продвинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть города Москвы через хороший бинокль». Кроме этого календаря, были отпечатаны пропуска — на немецком, разумеется, языке — на право беспрепятственного хождения по Москве. Последние были явно берлинского, а может, и лейпцигского производства, с золотым обрезаем на плотном бугристом ватмане. Этому солдату, как и доброй сотне его однополчан, бинокль не понадобился. Он уже в Москве! Да, да, его взору открылись кварталы высоких каменных домов нашей столицы. На перекрестках широких улиц стояли регулировщицы, и хоть на плече у каждой висела винтовка, но основным оружием были у них разноцветные флажки, которые доставались ими по надобности из халая теплых валенок. Пленного этого вместе с еще несколькими земляками перевозили в кузове грузовика с одного предместья Москвы в другое. Красноармейцы, сопровождавшие их, тоже никогда прежде не бывали в Москве, прибыли из Сибири и с не меньшим любопытством разглядывали столичные улицы.

И тем и другим предстояло встречать Новый год в Москве. Впервые в Москве!

Каким же был он, наш тот Новый год? В битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей сложности около полумиллиона человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч автомашин и много

другой техники. Фашистские войска были отброшены на запад на 150—300 километров.

А в кузов упомянутого здесь грузовика успел я заглянуть на перекрестке возле контрольно-пропускного пункта, где знакомая девчужка-регулировщица, вооруженная теми самыми флажками, нарушив обычай — пропускать знакомую корреспондентскую «эмку» без проверки, — нас задержала, и довольно решительно. В общем-то правильно поступила: ведь осталось-то всего несколько минут до встречи Нового года. Пожелала поздравить. Дело старое, что скрывать: в нарушение всех уставов не только крепко расцеловались на лютом этом морозе, но и по очереди, за неимением стаканов, выпили нашей «Московской особой» из алюминиевой баклажки, обшитой толстым шинельным сукном.

— С Новым годом! С новым счастьем!

За исключением кучки пленных в кузове старенького грузовика армия Гитлера двигалась в те минуты на запад.

Встреча же этого нового, 1942 года состоялась на последнем перекрестке Волоколамского шоссе, перед самым въездом в Москву.

БОРОДИНО, ЯНВАРЬ 1942

1

В той далекой предутренней морозной мгле белые танки с лежащими на них десантниками в белых, надувшихся от ветра и затвердевших от стужи маскхалатах казались невиданными скульптурами, сорвавшимися со своих пьедесталов. Куда неслись они? Еще несколько дней назад видел этих ребят неподалеку от Москвы, в костеревских танкистских лагерях. Жили все они в палатках, в небольших дачных домиках, землянках. В ожидании новой материальной части учились, увязывали, как они шутя говорили мне, теорию со своей прошлой боевой практикой. Да, несмотря на молодость, у всех до одного был уже боевой опыт. Они прошли от Бреста до Подмосковья. Вместе с танкистами учились и автоматчики, те самые люди, облаченные сейчас в белые маскхалаты с высокими капюшонами. И вот пришли танки...

Вместе со своим коллегой фотокорреспондентом центральной военной газеты «Красная звезда» Олегом Кноррингом торопились мы по рекомендации командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Константиновича Жукова в Бородино. Этот человек никогда не только не анонсировал предстоящие военные операции, но был беспощаден к любому из своих подчиненных, пытавшемуся кому-нибудь намекнуть о предстоящих боях. Но вот на сей раз Жуков прямо, без обиняков сказал:

— Будем брать Бородино,— и, хитро подмигнув, добавил: — «Скажи-ка, дядя».

Не раз слышал про Жукова: суров, непримирим, а временами просто груб, но мы, военные корреспонденты, всегда смело направлялись к нему, когда требовалась срочная помощь и уже все нам в ней отказали. Иногда дело касалось предоставления самолета, чтобы попасть в соединение, сражающееся в глубоком тылу противника; иногда военного провода, чтобы передать срочно в Москву особо важный материал.

Жуков был именно тем человеком на фронте, который всегда, можно сказать, «входил в положение». Тут я позволю себе вспомнить один случай. Имел он место в октябре 1941 года. Эсэсовская дивизия «Рейх» после долгих и упорных боев все-таки завладела Бородином.

Почти непрерывно над штабом фронта висели сотни фашистских бомбардировщиков, по которым Георгий Константинович категорически запрещал открывать огонь, чтоб, как он выражался, не поднимать «лишнего шума», «не отрывать штаб от дела», а на ближайшем от штаба перекрестке стояли «катюши», которые именно в тот момент впервые заговорили во весь голос.

И вот в такой обстановке Жуков изъявил желание выслушать подготовленную мной по заданию редакции статью под заголовком «Значение боев за Москву». Сказать по правде, статья не была написана. Это были всего лишь заметки во фронтовом блокноте. Но прибывший на фронт редактор газеты «Красная звезда» требовал немедленно прочитать Жукову статью и получить его «добро». Одна мысль, что мне предстоит в тот едва ли не самый драматический момент на фронте «объяснять» Жукову значение боев за Москву, была абсурдом. И все же это «чтение» состоялось. И Георгий Константинович терпеливо слушал. Я же боялся одного в тот момент: как бы он не попросил повторить какое-либо место из читаемой мной вслух ненаписанной статьи. Не буду здесь пересказывать всю эту встречу. Скажу лишь, что, прощаясь, командующий сказал:

— Не унывай, будет праздник и на твоей улице, напишешь еще и про освобождение Бородина, Можайска, про вступление советских войск в Берлин.

Если учесть, что обещание давалось Жуковым в октябре 1941 года да еще с упоминанием Берлина и Можайска рядом, понятно будет, как все это звучало. Не прошло и трех месяцев, а Жуков уже торопит меня в Бородино. И представьте, не забыл своих слов о «празднике на корреспондентской улице».

Какой же была она, дорога в Бородино? У меня сохранилась фронтовая записная книжка тех дней. Вот несколько строчек из нее:

«Женщины на саночках тянут скарб. Руины. Колонны двигаются на Можайск из Рузы. В Дорохове немцы погнали местное население рыть окопы. В Шаликове промежуточный рубеж. Сильная контратака

двух-трех батальонов. Биричев перерезал дорогу на Верею. Артиллерия не опаздывала. Сугробы; перенесли на руках орудия. Мосты все взорваны. Не только грузовики, но и лошади пройти не могут. В обход. Дальнобойная немецкая артиллерия пощипала. Немцы разобрали все дома; бревна пустили на блиндажи и дзоты. В лесах мелкие бои с автоматчиками. Ледяная гора. Вал из снега, залитого водой. Справа и слева от Минского шоссе обошел Берестов. Капитан Светенко удачно действует мелкими группами. Седьмого-восьмого января особенно сильный огонь. Светенко подпускает противника на близкое расстояние, затем начинает уничтожать начисто. Снарядов хватает».

Повторяю: привожу записи без исправлений. Надеюсь, что они дадут правильное представление о воздухе тех дней.

«В роту попал мальчик из села Тучкова. В мирное время подмосковные дачи. Мальчика зовут Саша. Ему не то тринадцать, не то четырнадцать лет. Каждую ночь он ходит в разведку в села, занятые немцами. По его данным не раз устраивали удачные засады. Убили шесть фашистов, а одного ранили. Мы стреляли, а они ползут. Саша этот умудрился и свою мать, Анастасию Петровну, сделать разведчицей. Она жила среди немцев, в ее доме стояли немцы. Данные получали от сына и матери точнейшие. Несколько раз о них докладывали самому командующему фронтом. Такие ребята есть — бомбят, а они ловят на лету осколки, подбрасывают вверх. Бывает, сидим в окопе, а кто-то на гитаре вздумал играть».

Дымилась земля и удушливый запах гари не переставал нас преследовать. Гремели орудия, и чем ближе к фронту, точнее, к Бородину, тем громче и неистовее. Уже позднее мы узнали, что среди них были и дальнобойные крепостные орудия, предназначавшиеся для обстрела московских улиц. Ехали мы всю ночь.

На окраине одной из сожженных деревень тлел костер, дым, медленно поднимаясь, словно застывал в морозном воздухе. Вокруг сидели, полулежали, стояли солдаты. Как же было не остановиться возле них, защитников Москвы, героев «второго Бородина». Оказалось, все они уже несколько месяцев подряд не снимали с себя шинелей, отходили от Бреста с кровопролитнейшими боями до Подмосковья. Впрочем, никто из них не настроен был об этом вспоминать. Лишь один сказал, что на прошлой неделе пришлось винтовками и гранатами отбивать орудие от фашистов. «Вот это самое», — и указал рукой на огневые позиции.

— Мы без прикурки ни разу не были, — добавил он. — Огонек немцу подаем исправно. Вот и сейчас, видите, перед самым вашим приходом доставили нам во-о-о какую голубятню.

Снаряды называют солдаты голубями, а грузовик, доставляющий боеприпасы, — голубятней.

Здесь нам пришлось надолго задержаться. Вскоре познакомились с лейтенантом Львом Гудиным. Правда, был он в этот момент занят по

горло и не очень-то расположен к беседе. Но все же кое-какие черточки характера этого паренька удалось уловить. Всякий раз, когда я пытался выразить восхищение тем, что его батарея подавила одну за другой важные цели, мешавшие продвижению нашей пехоты к Бородину, он иронически повторял: «Ну да, скажете». Я же, приглядываясь к этому в общем-то почти юному артиллеристу, как бы влюблялся в него, и уже мне не хотелось никуда дальше ехать, а только бы стоять тут, слушать его команды, наблюдать за его действиями. Оказалось, у одной пушки ходовая часть повреждена. «Ну и что, — ответил он солдату, — перенесем на плечах». И тут же первым подставил плечо, а за ним весь расчет. Он был спокоен, деловит, вечно что-то рассчитывал, подсчитывал. Чувствовалось, что для своих солдат это непререкаемый авторитет. И не скажешь, чтоб уж больно ласков был он с ними. Команды отличались краткостью, четкостью. Я все думал, что обязательно об этом парне напишу большой очерк. Надо бы хорошенько порасспросить. А он на это не поддавался. Занят был сильно... Впрочем, однажды что-то вроде интервью у нас с Гудиным получилось. Речь зашла о «Войне и мире» Толстого. Надо заметить, что в те дни роман этот был очень популярен на Западном фронте. Побывавший здесь тогдашний редактор журнала «Огонек» писатель Евгений Петрович Петров, наслышавшись этих разговоров о «Войне и мире», вернулся в Москву, и уже буквально через три дня я видел на фронте у многих солдат и офицеров маленькую книжечку «Библиотека «Огонька» под названием «Война и мир» с портретом Льва Николаевича Толстого на обложке. Евгений Петрович Петров поместил в этой книжке страницы, посвященные Бородину. И вот, видимо, эта книжечка и послужила поводом для моего «интервью» с лейтенантом Львом Михайловичем Гудиным. Почему-то Гудину больше всего запомнился разговор Кутузова с флигель-адъютантом Вольцогеном. «Помните, — сказал Гудин, — Вольцоген этот докладывает Кутузову, что войска в полном расстройстве, представляете себе, это он Кутузову докладывает, что его, Кутузова, войска в полном расстройстве. А что ответил ему Кутузов? «Неприятель побежден». Вот что ответил ему Кутузов». Я же, слушая тогда лейтенанта Гудина, был, признаться, поражен, как точно он запомнил именно это место из романа. Ну, понимаю, в те дни популярны были слова Лермонтова: «Ребята! Не Москва ль за нами?» Строчку эту можно было прочитать на броне танков, на щитах орудий, на бортах грузовиков. А тут проза...

Словом, эпизод этот еще больше подогрел меня, что надо, обязательно надо заняться Гудиным. Но заторопил меня спутник — фотокорреспондент. И вот прибыли мы на поля Бородина. В начале рассказа я уже упомянул о предутренней морозной мгле, встретившей нас в то январское утро на этих полях... Небо заволокло густой дымкой. Бесконечные снега. Пустыня. Ни живой души.

Остановились у подножия невысокого холма с заиндевшим обелиском, парящий орел на верхушке. Очистили руками снег на обелиске фельдмаршалу Кутузову и прочитали знаменитые кутузовские слова: «Неприятель отражен на всех пунктах».

Пусто кругом. Мглысто. Фотографировать нечего... Но вот со стороны Можайска показались деревенские розвальни с заиндевшей от головы до хвоста лошаadenкой, а за ними следом — солдаты. И чем ближе к нам, тем явственнее становились их посиневшие, почерневшие, заросшие щетиной лица. Шинели у большинства обмахрились, местами обгорели. Да и обувка вот-вот развалится. Уныло брели солдаты за розвальнями. В это-то время и пронеслись, поднимая снежные вихри, знакомые танкисты. Ветром сорвало с саней рогожу, и мы с Кноррингом увидели страшный груз. На санях лежали полуобгорелые голые тела. Они еще дымились. Понять сразу, что произошло, было невозможно. Солдаты, сопровождавшие этот страшный груз, объяснили, что один из немецких снарядов только что упал на их батарею, туда, где хранились боеприпасы. Начался сильный пожар, на артиллеристах загорелась одежда. Больше всех досталось этим троем ребятам, что лежали сейчас на санях...

Было решено похоронить погибших артиллеристов у подножия обелиска Кутузову. Принялись рыть могилу. Окаменевшая от мороза земля не поддавалась ни лопатам, ни ломам. Вспомнили, что на батарее осталась взрывчатка. Принесли. Рванули. Потом все мы заработали лопатами. Земля на глубине оказалась мягкой. Хоронили трех сержантов: Аханова, Соснина и Кадцина. Бросив шапки на землю, салютовали из винтовок.

— Мы хороним своих товарищей у памятника великому полководцу. Отсюда Кутузов руководил Бородинским сражением. Тут он сказал: «Неприятель отражен на всех пунктах». Вот они, слова. Мы все их прочитали на памятнике. Теперь они будут нашей путеводной звездой, — сказал лейтенант Кадушкин.

Затем говорил сержант Гордынский:

— Наши товарищи погибли за народ, за свободу. Мы все до войны жили спокойно, жили хорошо. Наши ребята отдали жизнь за нас.

Красноармеец Семенов, наголо остриженный, с сильно обожженным лицом, поднял винтовку, поставил ее прикладом себе на левое плечо и произнес только одно слово:

— Отомстим!

Сказал и тут же выстрелил. А вслед за ним и другие. Так возник салют. Первый салют, услышанный мной тогда на полях Бородина.

И надо же. Именно в этот момент над обелиском, над нашими головами пролетали одно за другим три звена советских истребителей. Они направлялись за линию фронта. Каждый из них качнул крыльями, пролетая над обелиском. И это, конечно же, был их салют. Затем стали закапывать могилу. Стали бросать горсть за горстью

жирную землю. А потом с обнаженными головами, сперва тихо, а потом все громче и громче запели «Интернационал».

В тот же день я написал и передал в редакцию репортаж, а мой друг Олег Кнорринг — фотографию. В репортаже, между прочим, были такие строчки: «Пройдут года, и рядом с памятником Кутузову будет воздвигнут памятник трем героям, достойным великого русского полководца». Этому репортажу и снимку не повезло. Из репортажа выпали строчки о предполагаемом в будущем памятнике трем сержантам, а снимок вовсе не попал в номер.

2

...И вот я стою возле памятника тем самым трем сержантам, которых хоронил 21 января 1942 года у подножия обелиска Кутузову. Идет смена почетного караула. Дети в голубых пилотках с развевающимися на ветру красными галстуками теснятся возле меня. Не я их интервьюирую, а они, вооружившись карандашами и тетрадками, расспрашивают у меня обо всем, что касается того далекого зимнего утра. Я знаю, что все они шефствуют над памятником. И не только над ним... Час назад в их школьном музее увидел фотографии тех, с кем осенью и зимой сорок первого, а затем в январе сорок второго не раз встречался тут вот, на великих полях Бородина. Снимки раздобыли дети, окружающие меня в эту минуту. Не так уж много знаю об этих детях. Известно, что немало потрудились, нашли адреса однополчан и родичей тех, кто спит в этой вот земле. И, может быть, этими вот карандашами и записали, как однополчане их подшефных трех сержантов от Бородина дошли до самого Берлина. И там первым артиллерийским залпом был их залп, тех самых, что клялись на этом вот месте, кто кинул в могилу первые горсти земли.

Случается и мне в корреспондентской работе соприкасаться с людьми, которые в ответ на все мои вопросы подозрительно мигают глазами и лезут за платком. В таком положении оказался теперь и я.

Встрече же с детьми, уроженцами Бородина, предшествовало короткое письмецо незнакомой читательницы «Огонька» — учительницы Владиславы Ивановны Булычевой. Ссылаясь на мой очерк, посвященный ленинградцам-танкистам, также принимавшим участие в освобождении Бородинского поля, читательница сообщила, что у них в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике готовится новая экспозиция, посвященная событиям на можайском направлении в 1941—1942 годах. И поэтому ее заинтересовал мой очерк, люди, которые в нем упоминаются, и сам, как она написала, автор.

Я, понятно, ей незамедлительно ответил, заодно просив написать, не известно ли ей о судьбе могилы трех сержантов: Аханова, Кадцина и Соснина. Учительница ответила, что некогда поставленный на их

могиле временный памятник заменен большим гранитным. И что по сему поводу она посылает мне в Москву книжку, на 118-й странице которой напечатана цветная фотография этого памятника. Открыв книжку на указанной странице и увидев громадный памятник, обрамленный молодыми березками и уставленный множеством ярких букетов цветов, я, признаться, сперва глазам своим не поверил. Но, вооружившись лупой, прочитал выбитые золотом на мраморе знакомые мне три фамилии.

Оставалось неясным, что моя корреспондентка имела в виду под временным памятником. Неужели ту доску от снарядного ящика, на котором мы с ребятами нацарапали штыком фамилии трех сержантов? Неужели эта доска пролежала столько лет на том месте? Сколько за то время было снежных зим, бурных весен, дождливых дней и ночей! По моим предположениям, доску эту давно унесло...

Еще раз разглядывал я снимок памятника, воздвигнутого на могиле трех участников Великой битвы за Москву, радовался тому, что память народная и велика и щедра. С огорчением вспоминал об Олеге Кнорринге, не дожившем до этих дней, когда он мог наконец сделать ту самую фотографию, как он сказал, «главную»...

Я решил отправиться в Бородино. Как просила моя корреспондентка, захватил с собой и записные книжки давних военных лет и чудом уцелевший у меня оригинал репортажа, упомянутого выше...

Бородинский военно-исторический музей-заповедник занимает 110 квадратных километров. Но скажу прямо: для тех, кто пережил описанное выше, кто тут воевал, пережил горечь отступлений, вернулся, слова «музей-заповедник» звучат по меньшей мере странно. Для ветеранов тех незабываемых дней и ночей эти поля, на которых полегло столько близких, где сами нынешние ветераны не раз валялись как снопы то от ран тяжелых, а то просто от нечеловеческой усталости. Герцен называл Бородинское сражение, вернее, рассказы о нем, своей Илиадой и Одиссеей. А когда спустя несколько десятилетий после 1941—1942 годов встречаются здесь бывшие воины, иной раз ради этой встречи пересекая десятки тысяч километров, конечно же, бородинская эпопея для них куда больше Илиады и Одиссеи...

Встреча началась не в Государственном бородинском военно-историческом музее-заповеднике, а в маленьком школьном музее, устроенном в одном из классов здешней сельской школы, с окнами, можно сказать, выходящими прямо на холмы и поля Бородина. Я нисколько не удивился, увидев изящную, вроде палехской, шкатулку с горстью земли, присланной сюда из Бреста с точным указанием, что взята она на центральном острове цитадели. Стоявший рядом со мной школьник, возможно, заметив мой повышенный интерес к этой горсти земли, тихо сообщил мне:

— А мы им своей бородинской, отправили в самый Брест.

Я поинтересовался, а где в точности брали они землю для этой посылки, и мальчик показал рукой на кутузовский обелиск. Тут в комнату вбежали другие школьники, вошла директор школы. У всех руки были в черной жирной земле, из-за чего директор школы Лидия Николаевна Щуплова отказалась от рукопожатия.

— Копали с детьми картошку, — объяснила она, — грех было такой погожий день пропустить. Ну и заменили несколько уроков на картошку. Наверстаем. Смотрите, сколько успели накопать. Постарались мои ребята.

Я же, глядя на руки детей, учительницы, вспомнил то давнее утро, когда и мои руки были в этой вот самой, жирной земле. А Лидия Николаевна тем временем продолжала:

— Читала где-то, что фельдмаршал Кутузов вскоре после Бородинского сражения, обращаясь к нашим деревенским, из этих вот окрестных сел, просил их, обрабатывая мирные поля, случаем не задеть плугом бывшие укрепления, дабы потомки могли гордиться и восхищаться своими предками. Ну так вот, знаете, наш-то школьный огород далече от редутов, не потревожим их.

По дороге в школу директор Государственного бородинского военно-исторического музея-заповедника Алиса Дмитриевна Качалова не раз останавливалась возле редутов и памятников 1812 года, показывая «боевые ранения», полученные ими в 1941—1942 годах. Реставраторы позаботились о том, чтоб при восстановлении поврежденных мест обрести бронзой, нержавеющей эти вот царяпины, дабы служили они напоминанием о боях, разгоревшихся тут спустя 129 лет после сражения времен Кутузова. Алиса Дмитриевна рассказала о громадной работе историков, реставраторов, экскурсоводов, посвятивших себя этим полям русской славы. Музей-заповедник связан со многими потомками героев 1812 года и с ветеранами Великой Отечественной войны, воевавших на этой земле осенью 1941-го и зимой 1942 года. Бывают дни, сказала она, когда поля заполняются тысячами людей. И это не только туристы, причем со всех концов света, но и ветераны, их семьи. На помощь заповеднику приходят школьники, учителя; можно смело считать, что весь район шефствует над Бородином. Назвала крестьян и крестьянок, которые в далекие военные дни помогали нашим воинам, выхаживали раненых, ходили в разведку, как мать и сын из Тучкова.

На пороге школы встретила нас и моя корреспондентка — Владислава Ивановна Булычева. Как и многие, о которых только что рассказала мне Качалова, учительница все свободное время отдает заповеднику, стараясь пополнить его новыми документами, интересными данными. Ее можно часто встретить среди экскурсантов. Она знает на память чуть ли не все стихи, посвященные Бородину.

— Недавно, рассказали мне, произошел тут в Горках такой случай. На пороге избы престарелого колхозника появились женщины

и молодой офицер. Старик взглянул на офицера и тут же потерял сознание. Гости, благо, что женщина была врачом, оказали необходимую медицинскую помощь хозяину дома. И тот, придя в себя, рассказал. В октябре сорок первого года, когда фашисты ворвались в Бородино, этот крестьянин, пользуясь ночной темнотой, обходил поля и подбирал тяжелораненых наших солдат и офицеров. Для этого он соорудил небольшую тележку. Подбирал, прятал в подполе своей избы, выхаживал. А когда в январе сорок второго года Советская Армия вновь вернулась в Бородино, он передал командиру первой ворвавшейся сюда части спасенных им советских воинов. Но одного спасти не удалось. И старик так же втайне похоронил его ночью. А когда Бородино уже освободили, он по обратному адресу, указанному в письме, полученном от родных похороненного им воина, написал им о случившемся. И вот приехали к нему. Но кто же мог знать, что сын погибшего внешне абсолютно похож был на отца, и тоже лейтенант...

Однажды пригласили меня в одну из пристроек Спасо-Бородинского монастыря. В полутемном обширном помещении со сводами я увидел, словно театральные реквизит, гусарские доломаны со стоячими воротниками, со шнурами, кивера, украшенные султанами с помпонами, лосины кавалергардов, патронташи, отделанные мехом ментики, тесаки, сабли, чепраки, штандарты. Все это реквизит кутузовской армии.

На громадном столе появились конверты, изготовленные из толстого ватмана, а в конвертах знакомые всем нам солдатские треугольники со штемпелями полевых почт.

Уже из первого письма я понял, что вернулось оно в Бородино спустя несколько десятилетий после того, как было отсюда отправлено. Обыкновенно, следуя правилам военного времени, в подобных письмах не полагалось называть дислокацию войсковых частей, а проще говоря, место боев, место, где пишется письмо. Но тут, видимо, как я потом убедился, прочитав не один десяток писем, тщеславие, а точнее, гордость взяла верх. Писавшие обязательно хотели, чтобы их близкие знали, что да, сын, или отец, или брат воеет на том самом Бородине, где воевали прапрадеды, на том самом Бородине, о котором впервые узнали в школе из стихотворения Лермонтова.

Правда, в одном письме автор в конце написал: «Я там, где «Скажи-ка, дядя». Словом, все нарушили правило военного времени. И все эти письма ушли в разные концы страны. Так как среди воинов Западного фронта было немало сибиряков, уральцев, дальневосточников, то почта нашла адресатов. В дальнейшем же возникло вот какое затруднение: часто письмо, присланное из Бородина, оказывалось в семье последним. И вот для семей, у которых этот адрес единственный, он стал как бы компасом в поисках родного человека.

После войны на адрес музея стали поступать письма со ссылками на это обстоятельство. А затем и сами письма, совершив такой вот круговорот, вернулись в Бородино. Одно письмо, датированное 20 января 1942 года, особо привлекло мое внимание. «Сегодня мы взяли город Можайск, — прочитал я. — Эх, и наколотил я со своей батареей этих паразитов! А как, мама, нас встречает население! В Можайске мне пришлось целоваться со всеми женщинами. Ты не представляешь, как были они рады нашему возвращению. Они готовы всех нас до одного обнимать, целовать». Письмо было подписано — Лев. Я посмотрел на наружную часть проштемпелеванного треугольника. И каковы же были мои и удивление и восторг, когда я собственными глазами прочитал в обратном адресе: Л. М. Гудин.

Так вот где мы встретились с тобой, лейтенант Лев Михайлович! Тот самый, с которым не успел я в январе 1942 года завершить свое интервью на огневой позиции. Я поинтересовался, нет ли еще писем от Гудина. В одном из них я прочитал: «Ничего невозможного нет. Только кое-какие трудности». В другом: «Вижу звезды, значит, жив». Ну, думаю, теперь мне надо во что бы то ни стало разыскать Льва Михайловича и написать наконец о нем... Но тут мне объявили, что Лев Михайлович Гудин погиб на 141-м километре Минского шоссе, на том самом месте, которое впоследствии было названо «Долиной Славы». А письма эти передала музею мать.

Там же, в комнате под сводами, показали мне хранящиеся под стеклом солдатские медальоны. Долгие годы не удавалось прочитать их содержание. Тайну раскрыли сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института судебной экспертизы. Около сорока солдатских медальонов, попавших в Бородинский музей, теперь расшифрованы. Указаны адреса и фамилии погибших воинов, числившихся много лет пропавшими без вести. Большинство — сибиряки, дальневосточники, уральцы. На некоторых медальонах, помимо адресов, надписи, и вот какие: «Як погибну на фронте, я не коммунист, но считайте меня большевиком». «Погибну, считайте коммунистом».

...Среди сотрудников Государственного бородинского военно-исторического музея-заповедника встретил я двух полковников в отставке: Николая Иннокентьевича Ефремова и Алексея Семеновича Козлика. Не раз я слышал, как о них сообщали директору заповедника Алисе Дмитриевне:

— Полковник Козлик ушел на батарею.

— Полковник Ефремов — на военной присяге.

Поинтересовался, и мне объяснили, что это обычная жизнь бородинских полей. Среди экспонатов музея, как уже было указано, занимающего 110 квадратных километров, есть и батареи, и укрепления, и окопы. Большая часть музея находится под открытым небом. Николай Иннокентьевич Ефремов объяснил мне, что каждый год на

поля Бородина прибывают молодые солдаты принимать военную присягу. Командируют солдат для ухода за памятниками. С одной из таких команд полковник тут же меня познакомил возле танка «Т-34», точь-в-точь такого же, какие встречал я в те далекие времена в этих краях. Но в отличие от тех он-то действительно возвышался на пьедестале. Прикомандировали ребят в помощь сотрудникам музея и на сей раз. Поначалу я принял и солдат и их командира за боевой экипаж. Задал тривиальный вопрос: не было ли среди их отцов участников боев за Москву, а может быть, и за Бородино? Ребята смущенно переглянулись между собой, и потом один из них, посмелее, ответил:

— Маленькие они были.

Сразу не понял: как это маленькие? И тут они все оживились и с помощью «математических выкладок» доказали мне, что средний возраст их будущих отцов во время великой битвы за Москву составлял от трех до пяти лет. И лишь один лейтенант — командир команды Сергей Ганин сообщил, что да, его отец воевал под Москвой, только не на Бородине. Недавно вышел в отставку с четырьмя боевыми орденами. Затем этот же лейтенант пожаловался мне, что многие экскурсанты обязательно стараются именно на этом танке оставлять свои автографы, царапают имена, а двое даже нарисовали сердца, пронзенные стрелами. Я было хотел отшутиться, сказал, что не всегда устоишь против соблазна оставить след на этой вот земле. Лейтенант заволновался:

— Это же не рейхстаг, чтобы автографы оставлять...

Я же, взглядываясь в лицо юного лейтенанта Сергея Ганина, вспомнил лейтенанта-артиллериста Льва Гудина, отвоевавшего у фашистских полчищ ту самую землю, на которой сейчас толпились сотни людей, пришедших поклониться героям и первого и второго Бородина. В начале рассказа упомянул я, что Георгий Константинович Жуков в октябре 1941 года, когда Москва была в смертельной опасности, сказал мне:

— Не унывай, напишешь еще и про вступление советских войск в Берлин.

Так все и вышло. Написал про Бородино, а летом 1945 года брал в Карлсхорсте у Жукова интервью о Берлинском сражении. И был немало удивлен, когда не я, а Жуков, в то время уже Маршал Советского Союза, весело усмехнувшись, сказал:

— А помнишь, как в Бородино тебя снаряжал...

ЗАВТРА НА РАССВЕТЕ...

Бухарест был первой европейской столицей, куда мне предстояло лететь из крошечной румынской деревеньки, вчера еще бывшей полем боя, изрытой сплошь траншеями, окопами, блиндажами.

Несколько дней назад, 20 августа, началась Яско-Кишиневская операция. Ранним утром с каждого километра земли одновременно грянуло по три сотни орудий, в небе стало тесно от наших боевых самолетов.

...Было жарко, все вокруг раскалилось до последней степени. Невообразимая пыль забивала дыхание, скрипела на зубах, проникала в нос, уши, от нее отяжелели веки, и стало трудно держать глаза открытыми. Чтоб хоть как-то дальше вести «виллис», опустили на капот переднее смотровое стекло, зажгли средь бела дня фары...

Я все торопил и торопил бедного шофера, уже старого, седого человека, слывшего среди коллег своих лихачом. Торопил по одной-единственной причине — опасался, что не успею передать в Москву, в газету, свежие новости об успешно развивающемся наступлении нашего 2-го Украинского фронта. При поддержке массированных ударов артиллерии и авиации войска фронта прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону противника северо-западнее города Яссы и за три дня наступательных боев продвинулись вперед до шестидесяти километров, расширив прорыв до 120 километров по фронту. Штурмом овладели мощным опорным пунктом обороны противника городом Яссы. Так это звучало потом в сводках, а сейчас наш корреспондентский «виллис», переваливаясь с бока на бок, вместе с наступающими въехал в предместья Ясс.

По обе стороны дороги небольшие коттеджи, на окнах тоскливо бьются сломанные жалюзи, развеваются тюлевые занавески. То и дело попадают наши саперы с миноискателями. Уже приступили к своей работе.

Пронесются картины, пережитые на дальних подступах к городу. Бои шли очень упорные. Исключительную стойкость проявили пехотинцы. Я записал много случаев, когда наши ребята вызывали на себя огонь артиллерии, лишь бы не пропустить врага. Вот строка из моей почерневшей фронтовой записной книжки: «Будут стоять насмерть, но врага не пропустят». Там же две записи под заголовком «Отцы и сыновья».

«Сынок, не робей!» — услышал я во время сильного артобстрела. Думал, кто-то меня старается подбодрить, оглянулся — пожилой усатый солдат говорил это молоденькому, растерявшемуся, когда убили первого номера у пулемета. Усач тут же плюхнулся на землю и стал строчить из пулемета. Молоденький, как потом узнал я, действительно был его сыном.

Запись вторая. Артиллеристов я застал у свежeverытой могилы. Сняв каски, прощались они со своим командиром батареи. И лишь один паренек в каске горько плакал, упав на холмик земли. Оказалось, то сын командира батареи. Долго воевал рядом с отцом, принимал от него по телефону боевые приказы, не подозревая, что это отец. Однажды солдат отдал честь незнакомому лейтенанту, а тот не

ответил, схватил в охапку солдата, прижал к груди и заплакал, повторяя: «Сынок! Сынок!» Отец, сталевар, в первый день войны ушел на фронт, сын мал был еще. Через некоторое время паренек упросил офицера части, проходившей через их город, взять его с собой, и тот на свой риск взял. Так началась военная биография мальчишки. Попал в огневики, командира батареи, своего отца, в глаза не видел. Такая вот история. Когда они друг друга встретили, отец повел сына к себе на наблюдательный пункт. И тут сильный обстрел. Отец упал на руки сына мертвым. Забегая вперед, скажу: пройдет много лет после войны, редакционное задание вновь занесет меня в знакомые румынские края, и именно возле Ясс, за которые было пролито немало крови советских воинов, увижу я вместо пирамидки с красной звездочкой, поставленной в то далекое время, гранитный памятник и возле него румынскую женщину с букетом красных роз.

У меня в записной книжке лишь отдельные случаи. А сколь их было! 286 тысяч советских воинов пролили кровь на румынской земле, из них 69 тысяч погибли. Вот какой ценой советские воины добывали будущую свободу Румынии.

Продолжаю листать свой блокнот. Это там, под Яссами, прочитал я на внутренней стороне крышки снарядного ящика такую надпись: «Громите фашистских захватчиков. Желаем скорой победы. Работницы Метелкина и Лаптева». На моих глазах в ход пошли «гостинцы» наших патриотов. А вечером, уже на новых позициях, солдаты писали ответ женщинам, благодарили.

...Пока бодистики передают мой очередной репортаж в редакцию, настраиваю радиоприемник. Отыскиваю наконец в эфире Москву, передают приказ об очередном салюте воинам нашего 2-го Украинского фронта. Слышу фамилии тех, с кем встречался вчера днем. Накануне начальник штаба фронта, тогда генерал, а впоследствии маршал, начальник Генерального штаба Матвей Васильевич Захаров попросил меня написать листовку к войскам в связи с предстоящей Яско-Кишиневской операцией. Листовка началась так: «Завтра, 20 августа, на рассвете...» Прошло тридцать шесть лет, а листовка хранится у меня, как реликвия. И не только потому, что я сам писал ее, но и потому, что на рассвете подобрал в окопе, куда скинули ее наши летчики.

В разгар Яско-Кишиневской операции генерал Захаров ранним утром прислал за мной вестового.

— Надо лететь в Бухарест и посмотреть, что там происходит, — сказал он, как только я появился на пороге. Склонившись над картой, он стал объяснять, что Бухарест — это заключительный аккорд операции, осуществляемой двумя фронтами — 2-м и 3-м Украинскими. — В Бухаресте своими глазами увидите результаты. Не только стратегические, но и политические. Словом, события ждут вас в Бухаресте исключительные, — напутствовал меня генерал.

В мое распоряжение выделялся «кукурузник». Захаров предупредил, что придется в пути несколько раз дозаправляться горючим, что, несмотря на вооруженное восстание, осуществленное патристическими силами под руководством румынских коммунистов, гитлеровцы продолжают отчаянно сопротивляться. Показал на карте, что некоторые из этих горячих точек попадутся и на нашем пути.

В полете все было, как говорил Захаров. Дважды посадочные площадки, на которых заправлялись бензином, оказались под сильным обстрелом. Несколько раз фашистские зенитки угодили в «кукурузник», но обнаружилось это уже в Бухаресте, когда приземлились и летчик показал дырки от пуль и осколков на слабеньких крыльях аэроплана.

Помню, как в какой-то, я бы сказал, торжественной дымке неожиданно показались под крыльями крыши многоэтажных домов, улицы, бульвары, заводские трубы... Бухарест! Круг, еще один... И мы над аэродромом, уставленным плотными рядами самолетов с крупными черными свастиками. Летчик пишет мне записку и передает, не поворачивая головы. В ней только одно слово: «Влипли». В баке последние капли бензина. Идем на посадку. И вот мы на земле. К нам со всех концов аэродрома сбегаются летчики — румынские летчики. Разговор с первых же минут завязывается какой-то, я бы сказал, туристический. Впечатление, что встретили нас многочисленные гиды. Справляются, приходилось ли прежде бывать в Бухаресте, называют многочисленные достопримечательности. Но тут один толстяк из них произносит на чисто русском: «Соловья баснями не кормят». Меня сажают в машину, и целая колонна двинулась с аэродрома в город. Бухарест жил шумной, веселой жизнью. Из ресторанов и кафе вырывались звуки знаменитых румынских скрипок. Воздух был напоен какими-то, казалось, необыкновенными духами. Это белая акация. Нарядно убраны витрины магазинов, нарядны женщины. А вскоре мы уже сидели за длинным столом, накрытым белой накрахмаленной скатертью, слушали перепалку пробок, вылетавших десятками из бутылок французского и румынского шампанского. Оказалось, многие из наших соседей по столу побывали в Одессе и в Крыму, а некоторые под Сталинградом. Я видел, как десятки тысяч румынских солдат и офицеров двигались, проваливаясь в сугробы, по волжским и донским степям, молча, с опущенными головами, под охраной всего лишь двух-трех наших автоматчиков.

Я был в Бухаресте, когда туда вошли войска нашего соседа — 3-го Украинского фронта.

23 августа произошло окончательное крушение обороны противника, и советские войска стали быстро продвигаться в центральные районы Румынии. Создались благоприятные условия для восстания. В этот день ЦК РКП обратился к народу с воззванием, в котором призывал выступить с оружием в руках против гитлеровцев. К началу

восстания Советская Армия отвлекла на себя основные силы гитлеровских войск в Румынии, и наше стремительное наступление способствовало его успеху.

Фашистская диктатура Антонеску была свергнута. Румыния вступила в справедливую войну против гитлеровской Германии.

Сразу же после событий 23 августа Советское правительство в специальном заявлении подчеркнуло, что Советский Союз не имеет намерения приобрести какую-либо часть румынской территории. Советское правительство, говорилось в заявлении, считает необходимым восстановить независимость Румынии, освободив ее от фашистского ига.

На центральной улице Каля-Виктория советских воинов встречали с цветами... И вот здесь, на этой улице, по которой триумфально двигались наши войска, я встретил полковника Чванкина — заместителя начальника политуправления фронта. Обрадовался: наконец-то можно все выяснить, уточнить. Но полковник, не слушая моих вопросов, заговорщически сказал:

— Доставай срочно две легковые автомашины и жди меня возле гостиницы «Амбасадор».

Доставать в совершенно чужом городе две легковые автомашины? Где? У кого? Машин на улицах было много. Они мчались с огромной скоростью, на многих развевались флажки нейтральных государств. Но ведь ни одной не остановишь.

Тут вновь появляется Чванкин.

— Ну, как? Есть? — спрашивает.

— Нет.

— Ладно уж, пошли, — сказал он, и мы вышли на тихую улочку, где стояло несколько автомашин. Значит, другие, подумал я, оказались расторопнее меня.

Мчимся по той же Каля-Виктория и по другим центральным улицам города. Всюду толпы людей, всюду цветы. Машины наши, достигнув окраины, остановились возле двухэтажного серого, ничем не примечательного особняка, за железной оградой которого виднелись запыленные, неухоженные деревья. Улица Ватра Луменас Страда Гаш, дом № 2. Мы поднимаемся по каменным ступенькам, наверху на маленькой площадке стоят вооруженные до зубов люди в штатском. У каждого маузер за поясом и маузер в руке. Через кухню, посредине которой распласталась громадная овчарка, проходим в полутемную комнату. Кто-то отодвинул шторы, и сразу стало светло. Перед нами явился высокий человек в полосатой шелковой пижаме, на ногах обшитые шелком ночные туфли с красными помпонами. С ужасом глянул на нас и тут же шагнул в противоположный угол.

— Первый румынский палач, — шепнул один из тех, кто встретил нас на крыльце.

Прошли в смежную комнату. За большим обеденным столом сидел человек в белоснежной шелковой сорочке. На спинке стула висел мундир с золотыми маршалскими погонами.

Мне показалось, что я этого военного где-то видел. Но где? Вспомнил. Весной, вскоре после освобождения Одессы, я наблюдал, как неподалеку от знаменитой «потемкинской» лестницы наши солдаты скидывали с фронтона здания громадный портрет в толстой позолоченной раме. Это был портрет Антонеску. А теперь я увидел живого Антонеску, брал у него интервью...

И вот для главаря фашистской клики пробил последний час.

Антонеску поднялся со стула, надел мундир и не спеша стал застегивать золотые пуговицы.

«События вас ждут исключительные», — вспомнились мне в тот момент слова нашего генерала Захарова.

Еще бы! Я, фронтовой корреспондент «Красной звезды», прилетев в Бухарест, увидел своими глазами финал Яско-Кишиневской операции. Румыния вышла из гитлеровской коалиции и повернула оружие против фашистской Германии. Клика Антонеску свергнута и находится в руках румынских патриотических сил, осуществивших в стране вооруженное восстание. Так я оказался свидетелем событий, открывших первую страницу истории новой, социалистической Румынии.

Бухарест, август 1944 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Вступление	3
Москва, октябрь — декабрь 1941	13
Бородино, январь 1942	32
Завтра на рассвете...	42

Зигмунд Абрамович ХИРЕН

ДНЕВНИК ФРОНТОВОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

Редактор О. М. Шмелев
Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 28.01.83. Подписано к печати 10.05.83. А 00673. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,10. Тираж 100 000. Изд. № 880. Зак. № 136. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

● ОБМЕН ЧАСОВ ВМЕСТО РЕМОНТА

Если наручные часы или будильник вышли из строя, не обязательно ждать, пока их отремонтируют.

В мастерских по ремонту бытовой техники можно обменять неисправные часы отечественных марок на заранее отремонтированные с гарантией.

Можно выбрать такую же модель или равноценные часы другой марки.

Оплачивается только ремонт и стоимость заменяемых деталей внешнего оформления.

Ремонт длится несколько дней—
ОБМЕН требует нескольких минут.
ЧТО УДОБНЕЕ?

Росбытреклама